
Jacques Lacan
ЖАК ЛАКАН
СЕМИНАРЫ
КНИГА 17
ИЗНАНКА ПСИХОАНАЛИЗА
(1969–1970)
LE SEMINAIRE
ЛОГОС ГНОЗИС
КНИГА 17
ЖАК ЛАКАН
СЕМИНАРЫ
ЛОГОС ГНОЗИС

**ЖАК ЛАКАН.**СЕМИНАРЫ.**КНИГА17**




*Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России.*

*Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères français et de l'Ambassade de France en Russie.*




# LE SEMINAIRE

## L'ENVERS DE LA PSYCHANALYSE

LIVRE 17 (1969–1970)

*Texte établi par Jacques-Alain Miller*

EDITIONS DU SEUIL
PARIS
1991

# ЖАК ЛАКАН

**СЕМИНАРЫ** КНИГА **17**

## ИЗНАНКА ПСИХОАНАЛИЗА

**(1969–1970)**

*В редакции Жака-Алэна Миллера*

**ГНОЗИС/**
**/ЛОГОС**

МОСКВА
2008

ББК 87.3
Л 86

Перевод с французского – *А. Черноглазова*

Координация проекта – *О. Никифоров,*
*философский журнал* ЛОГОΣ *(Москва)*

**Лакан Ж.**
Л 86 *Изнанка психоанализа* (Семинар, Книга XVII (1969-70)).
Пер. с фр./ *А. Черноглазова.* М.: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос". 2008. – 272 стр.

Дизайн серии – *Андрей Бондаренко*
Художественное формление – *А. Ильичев*

ISBN 5-8163-0037-7 (серия)



# ИЗНАНКА ПСИХОАНАЛИЗА

# I
# ПОРОЖДЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ДИСКУРСОВ

*Дискурс без слов.*
*Места предвосхищают интерпретацию.*
*Связь знания с наслаждением.*
*Раб, у которого украли его знание.*
*Желание знать*

Позвольте мне, дорогие мои друзья, еще раз обратиться к той помощи, которую вы мне, во всех смыслах этого слова, оказываете, в том числе и сегодня, следуя за мной, иные из вас уже в третий раз, в моих мытарствах.

Прежде, однако, чем я это сделаю, не могу не рассказать (в благодарность людям, которым я этим обязан) о том, как мы здесь оказались. Произошло это в порядке одолжения, которое юридический факультет соблаговолил сделать своим коллегам из Школы Высших Исследований, к которым оказался сопричисленным и я сам. Пользуюсь случаем, чтобы принести юридическому факультету и, в частности, его руководству в лице господина декана, благодарность, к которой, надеюсь, присутствующие охотно присоединятся.

Как вы, наверное, уже поняли из объявления, хотя аудитория эта и предоставлена в мое распоряжение каждую среду, мы будем собираться здесь лишь вторую и третью среду каждого месяца, что позволит мне посвятить оставшиеся среды другим делам. Я полагаю возможным объявить, в частности, что первую из сред месяца, хотя и не каждого, а лишь каждого второго, то есть в первую среду декабря, февраля, апреля и июня я буду вести в Венсенне, – не семинар конечно, а нечто прямо ему противоположное. Чтобы подчеркнуть, что речь идет о чем-то совсем другом, я даже назвал их *четырьмя импровизациями*, дав им юмористическое название, которое вы узнаете из помещенных мной уже объявлений.

Как видите, я сознательно кое о чем предпочитаю недо-

говаривать, так что, пользуясь случаем, хотел бы облегчить душу и извиниться здесь за ответ, данный мной одной даме, – ответ, по совести говоря, не слишком любезный, но не потому, что это входило в мои намерения, а потому, что так уж вышло.

Однажды дама эта, которая, возможно, находится среди присутствующих и наверняка уж себя не выдаст, подъехала ко мне на мопеде, когда я садился в такси. «Это Вы доктор Лакан?» – спросила она меня, остановившись подле. «Я. А что?» – ответил я. «Вы будете продолжать семинар?» – «Да, скоро начну». – «А где?» И тут, по причинам, которые у меня, прошу верить, на тот момент были, я ответил: «Увидите». После чего она рванула от меня на своем мопеде с такой скоростью, что я остолбенел и почувствовал угрызения совести. Именно поэтому я и хочу сейчас принести в ее адрес, если она здесь присутствует, искреннее раскаяние.

На самом деле, это хороший повод обратить внимание на то, что мы хватаем через край вовсе не потому, что хватает через край, по отношению к нам, кто-то другой. Беда происходит, когда мы оба одновременно переходим границу. Я был тогда чудовищно занят, почему и повел себя, как понял уже в следующую минуту, неподобающе резким образом.

Закончив с этим, перейдем теперь к тому, о чем нам предстоит говорить с вами в наступающем году.

## 1

«Психоанализ навыворот» – вот, по-моему, подходящее название для этого семинара.

Не подумайте только, будто название это как-то связано с событиями сегодняшнего дня, когда люди готовы подвергнуть многие вещи, как они полагают, перелицовке. Я приведу этому лишь одно доказательство. В тексте, датированном 1966 годом (а точнее в одном из введений, написанных тогда к сборнику моих текстов и расставляющих в нем определенные акценты) и носящем название «О наших предшественниках», я характеризую, на странице 68, мой

дискурс как «фрейдовское предприятие навыворот». Как видите, выражение это – *навыворот* – прозвучало у меня задолго до того, что происходит сейчас.

Что я имею в виду? В прошлом году я настойчиво проводил ту мысль, что дискурс представляет собой необходимую структуру, которая выходит далеко за пределы речи, носящей, в отличие от него, характер более или менее случайный, ситуативный. Что касается меня, то я, как я сказал и однажды даже написал на доске, предпочитаю *дискурс без слов*.

Все дело в том, что на самом деле дискурс может прекрасно обходиться без слов. Он сохраняется в определенного рода базовых отношениях. Эти последние невозможно, строго говоря, без языка поддерживать. Посредством языка как орудия устанавливается некоторое число постоянных связей, внутри которых может, разумеется, оказаться вписано нечто такое, что в границы фактических актов высказывания не умещается. Чтобы наше поведение, наши поступки оказались вписаны в рамки определенных изначальных содержаний, никакой нужды в этих актах нет. Если это не так, то как быть с тем, с чем мы сталкиваемся в опыте, особенно в опыте аналитическом – который мы упоминаем в этой связи постольку, поскольку он на это явление указал – как быть с тем, что является нам в облике сверх-Я?

Это одна из структур – по-другому назвать их не получается – характеризующих то, что из пресловутой формулы «в форме...», на особый способ использования которой я позволил себе в прошлом году обратить внимание, можно вывести – на то, одним словом, что происходит в силу основополагающих отношений, описанных мною как отношение одного означающего к другому. Откуда и возникает в итоге то, что мы называем субъектом, – возникает посредством означающего, функционирующего, при случае, как его, субъекта, представитель перед другим означающим.

Какое место этой фундаментальной для нас форме можно найти? Скажу сразу, что форму эту мы будем в этом году, если вы не возражаете, записывать по-иному. В прошлом году я исходил из внеположности означающего $S_1$, того, что служит для определения дискурса, которое нам на пер-

вых порах понадобится, отправной точкой – кругу, помеченному буквой А, то есть полю большого Другого. Теперь мы, для простоты, рассмотрим $S_1$, с одной стороны, и батарею означающих, обозначенную как $S_2$, с другой. Речь идет о тех означающих, что уже налицо, между тем как в точке возникновения, куда мы помещаем себя, чтобы зафиксировать то, как с дискурсом в качестве кодекса высказывания обстоит дело, $S_1$ следует рассматривать как означающее, которое внедряется в эту батарею впервые. Итак, $S_1$ внедряется в означающую батарею, которую мы ни в коем случае не должны рассматривать как разрозненную, не образующую заранее некую сеть, которую мы называем знанием.

Полагается эта сеть в тот момент, когда $S_1$, вторгаясь в поле, которое мы определили на данный момент как уже структурированное поле знания, выступает как представитель чего-то иного. То, что этому означающему под-лежит, ὑποκείμενον, и есть субъект – субъект, представляющий собой не живого индивида, а некую специфическую черту. Эта последняя, будучи, разумеется, его местом, его метой, не принадлежит, тем не менее, к разряду того, что вводит субъект именем знания с его специфическим статусом.

$$\frac{S_1}{\$} \rightarrow \frac{S_2}{a}$$

Разумеется, здесь, вокруг термина *знание*, налицо некая двусмысленность, в которой нам придется сегодня сосредоточиться на аспекте, который я давно уже прямыми и окольными путями дал вам почувствовать.

Тем, кто слушал меня внимательно и кого, возможно, мысль эта задела за живое, хочу напомнить, что мне случилось в прошлом году назвать *знанием* наслаждение (от) Другого.

Странное дело! Ведь прежде формула эта, по правде говоря, никогда у меня не звучала. Однако новой при этом ее тоже не назовешь: в прошлом году мне случалось уже показывать, что она достаточно правдоподобна, и речь о ней никаких особых недоумений не вызывала. Она остается одной из тем, предусмотренных для обсуждения в этом году.

Дополним прежде всего то, что имело сначала две, а за-

тем три ноги, еще одной, четвертой.

Об этой последней я настойчиво веду речь уже давно, и особенно в прошлом году, так как с некоторых пор семинар мой для этой цели и существует – недаром заголовком прошлогоднего курса стало *От Другого к другому* (*D'un Autre a l'autre*). Этот другой, маленький, предваряемый свидетельствующим о его известности определенным артиклем, и есть то самое, что мы на данном, алгебраическом уровне означающей структуры обозначаем как *объект а*.

Интересует нас на данном уровне лишь одно – как этот объект работает. Поэтому ничто не мешает нам посмотреть, что будет, если мы повернем всю схему на сорок пять градусов.

Об этом повороте я говорю, по разным поводам, начиная с выхода в свет моего сочинения под заглавием *Кант с Садом*, так что у слушателей моих было время понять, что дело не ограничивается, как выяснится однажды, преобразованиями так называемой схемы Z, и что причины у него серьезнее, нежели по чистой случайности сложившаяся в воображении визуальная схема.

$$\frac{\$}{a} \rightarrow \frac{S_1}{S_2}$$

И вот вам пример. Поскольку саму цепочку, то есть последовательность буковок в этой алгебраической формуле, мы – это, вроде бы, ясно – менять не можем, то, последовательно разворачивая схему на четверть оборота, мы получим четыре структуры – не больше – первая из которых представляет собой своего рода отправную точку.

Три оставшиеся вы легко можете написать на бумаге сами.

Делая это, мы всего-навсего вводим некий инструментарий, в котором нет ничего, что было бы навязано нам искусственно, то есть, если посмотреть на это с иной точки зрения, ничего, что от какой бы то ни было реальности абстрагировалось. Напротив, все это уже вписано в то самое, что функционирует в качестве реальности, о которой я только что говорил, той реальности дискурса, которая уже пребывает в мире и дает ему опору, – тому, по крайней мере,

о котором мы с вами знаем. То есть не просто вписано в реальность, а стало частью ее несущих конструкций.

Что до буквенной формы, в которую мы эту символическую цепь облекаем, то она, разумеется, не имеет значения – лишь бы запись была достаточно четкой, чтобы в ней обнаружились некие постоянные соотношения. Такова наша формула.

О чем она говорит? В ней запечатлен определенный момент, результат, к которому придут наши рассуждения, которые разъяснят нам, какой смысл подобает этому моменту придать. Он говорит о том, что стоит $S_1$ вступить в поле других означающих – поле уже сложившееся, поскольку они друг через друга в качестве означающих уже артикулированы – как в результате этого вмешательства в систему, этого предстояния другому_возникает $\$$, то самое, одним словом, что мы назвали расщепленным субъектом. К этому субъекту нам еще предстоит в этом году вернуться, чтобы в полной мере его позицию оценить.

Наконец, мы с самого начала подчеркивали, что итогом этого процесса оказывается нечто такое, что мы определяем как потерю, или утрату. Ее-то и означает в нашей формуле буква, читать которую следует как объект *a*.

Мы не преминули также указать то место, откуда функция утраченного объекта была нами почерпнута. Источником послужили для нас рассуждения Фрейда об особом смысле, которое получает у говорящего существа повторение. Повторение не является одним из следствий памяти, в биологическом смысле этого слова. Повторение связано определенным образом с тем, что является пределом этого знания и именуется нами наслаждением.

Вот почему формула, гласящая, что знание есть наслаждение (от) Другого, носит характер логического суждения. Другой здесь, разумеется, не является тем или иным конкретным Другим – это то, что возникает в качестве поля в результате вмешательства означающего.

В возражение мне вы укажете, конечно, на то, что мы, в сущности, вращаемся в замкнутом кругу – означающее, Другой, знание, означающее, Другой, знание, и т. д. И вот тут-то термин *наслаждение* и позволяет нам разглядеть тот

пункт, где инструментарий вводится в действие. Указав на него, мы выходим, безусловно, за пределы того, что именуется, в строгом смысле этого слова, знанием, и переходим к его пределам, к области пределов как таковых – той самой, к которой речь Фрейда осмелилась приблизиться.

Что из его выражений следует? Знание? Навряд ли – скорее, путаница. Что ж, путаница как раз и должна послужить для нашего размышления отправной точкой, ибо речь идет о пределах, о том, как из системы выйти. Выйти на каком основании? Жаждая смысла, как если бы система испытывала в нем нужду. Система, конечно же, не нуждается в нем нимало. А вот нам, существам слабым и оказавшимся в этом году, в курсе нашем, на распутье, нам он не помешает. Что ж, вот он, смысл, по крайней мере один.

Как знать, может быть, он не истинный. С другой стороны, мысль «а может быть, не истинный», будет, вы сами увидите, приходить нам в голову на каждом шагу. Сама настойчивость этой мысли и внушает нам подобающее представление об измерении истины.

Обратите внимание, насколько двусмысленно звучит у психоаналитиков, с их непроходимой тупостью, слово *Trieb* – они не делают ни малейших усилий, чтобы понять логику этого понятия. А ведь у него есть свое происхождение, история употребления этого слова восходит еще к Канту, и роль его в аналитическом дискурсе слишком важна, чтобы незаслуженно переводить его скороспелым словечком *инстинкт*. Впрочем, в конечном счете, такого рода смысловые скольжения не случайны, и мы сами, давно указавшие на ошибочность этого перевода, можем, однако, обернуть его в свою пользу. Не для того, разумеется, чтобы увековечить в психоанализе, да еще в этом смысле, понятие инстинкта, а лишь в напоминание о том, что делает рассуждения Фрейда пригодными для жизни и в попытке их, рассуждения эти, обжить по-другому.

В обыденном сознании инстинкт представляют себе неким знанием – знанием, о содержании которого сказать ничего нельзя, хотя результатом его считается, и небезосновательно, возможность поддержания жизни. И напротив, принимая всерьез то, что говорит о принципе удовольствия

Фрейд, видевший его значение для функционирования организма в поддержании напряжения на максимально низком уровне, не приходим ли мы неизбежно к тому, что сама логика его рассуждений навязала впоследствии и ему, – не приходим ли мы к *влечению к смерти*?

Понятие влечения к смерти было подсказано ему самим развитием его опыта, аналитического опыта, представляющего собой не что иное, как структуру дискурса. Ибо не надо забывать, что наблюдая за тем, как люди себя ведут, понятие влечения к смерти не изобрести никогда.

Влечение к смерти – оно здесь налицо. Оно там, где между вами и тем, что я говорю, что-то происходит.

## 2

Я сказал *тем, что я говорю*, я не имею в виду то, что есмь я сам. Зачем, если благодаря содействию, оказанному вашим присутствием, это видно и так? Я не сказал бы, впрочем, что оно говорит в мою пользу. Порою, и очень часто, оно говорит вместо меня.

Как бы то ни было, если что и оправдывает те речи, что я веду с этой кафедры, так это, по сути дела, то, что проявилось в различного рода содействии, оказанном мне, поочередно, в местах, где доводилось мне вести семинар.

То, о чем я собираюсь сейчас сказать, так и просится у меня на язык, ибо сегодня, когда мы собрались в новом месте, это придется особенно кстати. Место всегда играло свою роль в формировании стиля того, что я назвал проявлениями содействия, – проявлениями, насчет которых не упущу случая заметить, что они очень близки к *интерпретациям* в самом расхожем смысле этого слова. То, что я в вашем присутствии и с вашей помощью когда-либо для вас говорил, каждый раз, то есть в каждом географически ином месте, являлось интерпретированным уже заранее.

Вы поймете это, познакомившись поближе с моими вращающимися четвероногими формулами – я к этой теме еще вернусь. Но чтобы не оставлять вас в совершенном не-

доумении, скажу вам пару слов уже теперь.

Если бы пришлось мне теперь интерпретировать то, что говорилось мной в госпитале св. Анны между 1953 и 1963 годами, а точнее, интерпретацию эту фиксировать – речь идет об интерпретации в смысле противоположном интерпретации аналитической, что ясно дает почувствовать, насколько понятие аналитической интерпретации идет вразрез с расхожим значением этого слова, – то я сказал бы, пожалуй, что воспринимались они в шутейном духе, что именно веселье звучало в них главной нотой.

Типичным для моей тогдашней, медицинской по преимуществу, аудитории – хотя присутствовали в ней, надо сказать, не только люди медицинской профессии – был персонаж, пересыпавший мою речь непрерывной чередой острот и дурачеств. Именно это было, по-моему, характерно для атмосферы, окружавшей в течение десяти лет мои публичные выступления. Лишним доказательством чему служит тот факт, что стоило мне посвятить триместр анализу остроумия, как настроение в аудитории заметно скисло.

Отступление получилось длинным, и я не могу долго разговаривать на эту тему, но нельзя не добавить несколько слов и о другой интерпретации – интерпретации, характерной для того места, где мы с вами в прошлом году расстались, для Высшей Нормальной Школы (E.N.S.).

E.N.S. – эти инициалы звучат просто великолепно. Невольно приходит на память латинское *ens*, сущее. Орфографическими двусмысленностями всегда можно с умом воспользоваться, особенно в данном случае, когда с тех же букв начинается французское *enseigner*, преподавать. Так вот, именно там, на улице Ульм, до людей впервые дошло, что деятельность моя являлась преподаванием.

Ранее, однако, факт этот отнюдь не представлялся им очевидным. Более того, этого не признавали. Профессора, в особенности медики, выказывали обеспокоенность. Тот факт, что к медицине мои семинары отношения не имели, ставил под сомнение саму возможность относиться к ним как к преподавательской деятельности. Именно так и обстояли дела до тех пор, пока не явились на моих занятиях люди из «*Аналитических тетрадей*», то есть люди, получившие

образование там, где, как я задолго до этого, то есть в эпоху приколов, сказал, знаний никаких образование не дает, но учат зато превосходно. То, что речи мои они интерпретировали именно так – я повторяю, что вовсе не аналитическую интерпретацию имею сегодня в виду, – вполне объяснимо.

Мы понятия, естественно, не имеем о том, что произойдет здесь. Я не знаю, явятся ли сюда правоведы, но для интерпретации присутствие их было бы на самом деле неоценимо. Не исключено, что из трех периодов этот окажется самым важным: ведь в этом году нам предстоит подойти к психоанализу с оборотной его стороны и придать ему, может быть, его статус – в смысле, который как раз и именуется юридическим. Это, во всяком случае, всегда было связано, и притом решающим образом, со структурой дискурса. Если суть права состоит не в этом, если не здесь находится место, где мы осязательно ощущаем, каким образом выстраивает дискурс реальный мир, то где еще нам его искать? Вот почему и здесь мы чувствуем себя вполне на своем месте.

Так что воспользовался я представившейся мне счастливой возможностью не только, как видите, из соображений удобства. Да и вам, особенно тем, что привыкли к другому берегу Сены, такой переезд доставил, надеюсь, минимальные неприятности. Не знаю, как тут с парковкой, но вы можете в конце концов воспользоваться и прежней, на Рю д'Ульм.

## 3

Итак, начнем сначала.

Мы успели прийти к тому, что место нашего инстинкта, как и нашего знания, задается тем определением, которое Биша дает жизни. «Жизнь, – говорит он, и это, если присмотреться, очень глубокое определение, совсем не в духе Прюдома, – это совокупность сил, которые сопротивляются смерти».

Прочтите то, что написал Фрейд в отношении сопротивления, которое оказывает жизнь погружению в нирвану, –

именно так окрестил Фрейд влечение к смерти, когда впервые заговорил о нем. И в рамках аналитического опыта, опыта по сути своей дискурсивного, он, несомненно, представляет себе это погружение как возвращение к неодушевленному состоянию. Фрейд не колеблется сделать именно этот вывод. Если что и не позволяет какое-то время пузырю жизни лопнуть – при чтении соответствующих страниц образ этот просто напрашивается – так это то обстоятельство, что для возвращения в небытие жизнь неизменно выбирает одни и те же, когда-то ей раз и навсегда проложенные пути. Что здесь перед нами, как не подлинный смысл, приданный, наконец, тому, что находим мы в понятии инстинкта с его имплицитным знанием?

Эта дорожка, тропка эта, нам хорошо знакома – речь идет о знании предков. Но что оно представляет собой, это знание? – спросим мы себя, не забывая при этом о том, что назвал Фрейд лежащим по ту сторону принципа удовольствия, ни в коем случае тем самым этот последний не отвергая. Знание – это то, благодаря чему жизнь не заходит в своем стремлении к наслаждению за определенный предел. Ибо путь к смерти – а именно о нем идет речь, так как Фрейд рассуждает в данном случае о мазохизме, – путь к смерти, повторяю, как раз и представляет собой то самое, что именуется наслаждением.

Знание с наслаждением изначально связаны, и именно в эти отношения вторгается то, что возникает в момент появления означающего инструментария. Не исключено, таким образом, что функцию возникновения означающего нам удастся с тем, о чем мы здесь говорим, увязать.

Достаточно и этого, скажут нам, какая нужда искать всему объяснения? Любому известно – для того, чтобы знание правильно выстроить, вопросами о происхождении лучше не задаваться. То, что мы делаем, ища пресловутые связи, является по отношению к тому, о чем нам предстоит говорить в этом году, к вопросам структуры, излишним. Это всего-навсего бесплодные поиски смысла. И все же я вновь призываю дать себе отчет в том, что мы собой представляем.

Итак, продолжим.

Именно в соединительном звене наслаждения – при-

чем не первого попавшегося, ибо наслаждение, о котором идет речь, должно, разумеется, оставаться непрозрачным, – именно в звене особого, привилегированного наслаждения – привилегированного не потому, что это наслаждение сексуальное, так как то, на что наслаждение это, будучи соединительным звеном, указывает, представляет собой утрату сексуального наслаждения, кастрацию, – именно во взаимодействии здесь, в этом звене, с сексуальным наслаждением происходит у Фрейда, в его притче о повторении, зарождение того действительно радикального, что облекает плотью буквенные символы нашей схемы. Однажды возникнув, $S_1$, в первом такте, повторяется подле $S_2$. В результате вступления их во взаимодействие возникает субъект, который оказывается чем-то представлен, некоей утратой, – утратой, понимание двусмысленности которой стоило затраченного нами усилия к постижению смысла.

И вовсе не случайно тот самый объект, вокруг которого разворачивается в анализе, как я указывал, вся диалектика обманутых ожиданий, фигурировал у меня в прошлом году под именем *избыто(чно)го наслаждения* (*plus-de-jouir*). Это означает, что утрата объекта является одновременно зиянием, дырой, готовой вместить что-то такое, что может представлять собой – мы не знаем наверное – нехватку наслаждения, – нехватку, чье место задается процедурой знания, которое теперь, получив от означающего членораздельность, несет на себе совершенно иные акценты. А может быть, зияние и нехватка одно и то же?

Связь с наслаждением предстает еще более выраженной благодаря той, виртуальной покуда, функции, что именуется функцией желания. Именно по этой причине, кстати говоря, я предпочитаю называть это явление *избыт(очн)ым* наслаждением, вместо того чтобы связывать его с форсированием или нарушением границ.

Давайте с этой неразберихой раз и навсегда здесь покончим. Если анализ что-то вообще показывает, так это то – я взываю здесь к тем, кого нельзя обвинить, как труп у Барреса, в невнятице, – что никаких нарушений не происходит. Изворачиваться не значит нарушать. Видеть, что дверь приоткрыта, и войти в нее – совсем не одно и тоже. У

нас еще будет случай столкнуться с тем, с чем я собираюсь вас познакомить – речь пойдет не о нарушении, а, скорее, о вторжении, о провале в поле чего-то такого, что относится к категории наслаждения, о некоей прибыли.

Но даже за это, возможно, надо платить. Почему и сказал я вам в прошлом году, что у Маркса, где наше *а* налицо, оно предстает как функционирующее на уровне, который, именно благодаря аналитическому дискурсу, и никакому другому, вычленяется как уровень прибавочного наслаждения. Оно-то и предстает у Маркса как то, что происходит на самом деле на уровне прибавочной стоимости.

Конечно, прибавочную стоимость придумал не Маркс. Просто никто до него не знал, где ее настоящее место. А место это то самое, о котором я только что говорил – двусмысленное место избыточного, прибавочного труда. И что он, этот избыточный труд дает? – спрашивает Маркс. Конечно же, наслаждение, которое должно, разумеется, кому-то достаться.

Беда в том, что когда за него платят, его получают, а получив его, нужно его тут же растратить. Если его не тратят, это влечет неприятные последствия. Но разговор на эту тему мы покуда отложим.

## 4

Что я собираюсь сделать? Я начну постепенно убеждать вас в том, что моя четвероногая конструкция, с ее четырьмя позициями, может послужить определению четырех основополагающих типов дискурса. Для этого я просто-напросто продемонстрирую вам координаты, в которых она работает.

Я не случайно начал именно с той, первой, формулы, что написана у меня на доске. Казалось бы, я с тем же успехом мог начать с любой другой из них – со второй, например. Но факт остается фактом – именно первая формула, та, что исходит из означающего, представляющего субъект перед другим означающим, играет совершенно особую роль

– ведь из того, что нам в этом году предстоит сказать, выяснится, что именно в этой из наших четырех формул окажется артикулирован дискурс господина.

О том, насколько велико его, дискурса господина, историческое значение, напоминать вам, по-видимому, нужды нет, ибо большинство из вас было как-никак просеяно через сито так называемого университета, и вы знаете, хотя бы лишь понаслышке, что философия только об этом и говорит. Но еще до того, как тема эта вышла на первый план, то есть была названа по имени – что у Гегеля, по меньшей мере, бросается в глаза и им специально проиллюстрировано, – ясно было, что именно на уровне дискурса господина появилось нечто такое, что к нам, когда мы говорим о дискурсе, при всей двусмысленности его, имеет непосредственное отношение и носит название философии.

Я не знаю, какие выводы из того, на что я сейчас укажу, мне достанет времени сделать, но если мы собираемся рассмотреть все четыре дискурса, о которых идет речь, медлить не стоит.

Как называются остальные три? Отвечаю сразу же, хотя бы для того – а почему бы и нет? – чтобы вас заинтриговать.

Тот, что записан на доске вторым – это дискурс истерика. Это не очевидно, но я в дальнейшем все объясню.

За ним следуют еще два. Один из них – это дискурс аналитика. А другой – нет, вот этого я вам точно пока говорить не стану. Если я прямо вот так, сегодня, это скажу, недоразумений не оберешься. А дискурс этот, между тем, актуальный – вы увидите сами.

Вернемся, поэтому, к самому первому. Для начала мне придется уточнить обозначения, использованные мною в алгебраическом аппарате, описывающем здесь структуру господского дискурса.

$S_1$ – это, попросту говоря, означающее, функция означающего, на которой покоится суть того, что представляет собой господин. С другой стороны, справа – вы помните, наверное, я на это в прошлом году неоднократно ваше внимание обращал – находится область раба, то есть знание, $S_2$. Судя по дошедшим до нас свидетельствам о жизни в античности или, по крайней мере, о том, как современники о

ней судили – прочтите на этот счет «Политику» Аристотеля, – мое утверждение, что раб характеризуется как носитель знания, сомнений вызвать не может.

В античную эпоху раб является не просто, как в современном обществе, одним из классов – это функция, вписанная в семью. Раб, о котором говорится у Аристотеля, является частью не только государства, но, и притом в большей степени, еще и семьи. А происходит это потому, что ему принадлежит умение. Прежде чем судить о том, знает ли себя знание, можно ли положить в основу понятия о субъекте перспективу знания, вполне прозрачного для себя самого, необходимо прежде уметь исчерпать регистр того, что с самого начала выступает именно как умение.

На наших глазах происходит нечто такое, что сообщает философии ее первичный – хотя и не единственный, как вы убедитесь в дальнейшем – смысл. Что я имею в виду? Следы этого мы находим, к счастью, уже у Платона, о чем очень важно помнить, если мы хотим найти тому, о чем мы говорим, его настоящее место – в конце концов, если в том, что нас так мучительно занимает, имеется хоть какой-то смысл, то в чем может он состоять, как не в том, чтобы расставить все по своим местам? На что философия всем развитием своим указывает? Да именно на это – на то, как господин похищает, отбирает, изымает у рабского состояния его знание.

Чтобы заметить это, достаточно быть хоть немного начитанным в диалогах Платона, и я, Бог свидетель, вот уже шестнадцать лет прилагаю усилия к тому, чтобы слушатели мои эту начитанность приобрели.

Проведем для начала различие между тем, что я назову в данном случае двумя ликами знания – знанием артикулированным и, с другой стороны, тем умением, что, несмотря на близость свою к животному знанию, не лишено у раба того инструментария, который обращает его в языковую сеть, и притом одну из наиболее развитых. Важно заметить, что этот второй слой, этот артикулированный инструментарий, может передаваться – то есть переходить из кармана раба в карман господина – если допустить, конечно, что в эпоху эту карманы существовали.

Это и есть усилие, нужное для выделения того, что я называю словом *эпистема.* Это странное слово. Я не знаю, приходилось ли вам задуматься над ним хорошенько, но занять хорошую позицию это, в сущности, то же самое, что означает, по-немецки, *verstehen.* Речь идет о нахождении позиции, которая позволила бы знанию стать знанием господина. Функция эпистемы как знания, подающегося передаче, целиком заимствована – посмотрите, что говорится на сей счет в диалогах Платона – из техники ремесленного, то есть рабского, по сути, труда. Речь идет о том, чтобы извлечь содержащуюся в ней квинтэссенцию, сделав тем самым это знание знанием господина.

Все это дублируется, естественно, своего рода рикошетом, представляющим собой то самое, что называют ляпсусом, возвращением вытесненного. Что тот автор, что другой, что сам Карл Маркс – все они делают оговорку, говорят *но.*

Откройте *Менон* на том месте, где речь идет о извлечении корня из двух и его несоизмеримости. *Но*, говорит один из собеседников, ведь раб – позовите его, голубчика, сюда – вот видите, он же знает. Рабу задают вопросы – вопросы господина, конечно – и раб отвечает, естественно, на эти вопросы то, что сами вопросы ему в качестве ответа диктуют. Перед нами явно форма насмешки. Способ поглумиться над бедолагой, поджаривая его с обоих боков. Настоящая цель, очевидно, следующая – давая понять, что раб знает, сделать это в форме издевательства, но издевательства скрытого, так как все дело в том, чтобы похитить у раба его функцию на уровне знания.

Чтобы понять смысл сказанного, нужно разобраться в том – чем мы в следующий раз и займемся – каким образом артикулируется позиция раба по отношению к знанию. Я уже затрагивал эту тему в прошлом году, в форме броского *hint.* Принято считать, что наслаждение является привилегией господина. Интерес же, напротив, представляет, ясное дело, то, что опровергает эту истину изнутри.

Короче говоря, речь в данном случае идет о статусе господина. Сегодня я собирался лишь в качестве вступления пояснить вам, насколько глубоко статус этот, демонстрацию которого стоит отложить до следующего раза, нам ин-

тересен. Интересен становится он для нас тогда, когда то, что открывается нам и одновременно теряется где-то в углу пейзажа, оказывается функцией философии. Ввиду того, что времени у нас в этом году меньше, чем раньше, развить эту тему я не смогу. Но это не важно – кто-нибудь другой может обратиться к этой теме и делать с ней все что угодно. Историческая роль философии и состоит как раз в извлечении, я бы даже сказал, в фальсификации знания раба, чтобы получить из него, путем трансмутации, знание господина.

Означает ли это, что то, что возникает теперь под именем науки, чтобы поработить нас, является плодом такой операции? Не стоит торопиться с выводами – на наш взгляд, ничего подобного. Мудрость, о которой я говорю, *эпистема*, приспособленная к работе с любыми дихотомиями, дала лишь то знание, которое можно описать термином, послужившим самому Аристотелю для характеристики знания господина – знание теоретическое. Теоретическое не в том слабом смысле, который мы придаем этому слову сегодня, а в том специфическом смысле, который несет слово *теория* у Аристотеля. Заблуждение поистине удивительное. Я возвращаюсь вновь к этой теме, так как здесь кроется нерв моих рассуждений, их стержень. Лишь с того дня, когда путем отказа от, так сказать, незаконно приобретенного знания, кое-кому удалось впервые вывести из строгого взаимоотношения между $S_1$ и $S_2$ функцию субъекта – под кое-кем я разумею Декарта, моя трактовка которого согласуется с мнением по крайней мере значительной части тех, кто этим философом занимался, – лишь с этого дня родилась наука.

Поворотный момент, когда была сделана попытка передачи знания от раба к господину, следует отличать от нового отправного момента, ознаменованного лишь определенным способом укоренить любое возможное высказывание в структуре в качестве чего-то такого, единственной основой чему служит артикуляция означающего. Это лишь небольшой, уже вам знакомый, пример прояснений, который тот тип работы, что я предлагаю вам в этом году, способен вам дать. Не думайте только, что мы этим и ограничимся.

Стоит открыть глаза на то, что я сейчас вам сказал, как оно немедленно представляется очевидным – кто же может

отрицать, что философия всегда была не чем иным, как поставленной на службу господина операцией по охмурению публики? С другой стороны, мы имеем дискурс Гегеля и то чудовищное, что называет он абсолютным знанием. Что может означать абсолютное знание, если мы станем исходить из определения, которое, как я позволил себе напомнить, является для нашего подхода к знанию принципиальным?

С этого мы, пожалуй, в следующий раз и начнем. Это послужит для нас по крайней мере одной из отправных точек, так как есть и другая, не менее важная, помнить о которой в особенности полезно в свете чудовищных вещей, какие приходится слышать от психоаналитиков, когда речь идет о желании знания.

Если существует что-то такое, что психоанализ должен был бы отстаивать с пеной у рта, так это то, что желание знания не имеет к знанию ни малейшего отношения – если не отделываться, во всяком случае, от этой проблемы, похотливым словом *трансгрессия*. Перед нами здесь радикальное различие, имеющее для педагогики далеко идущие последствия – желание знания не является тем, что к знанию нас приводит. Приводит к знанию – вы простите мне, если доказательство я на более или менее долгий срок отложу – не что иное, как дискурс истерика.

Тут есть, и правда, над чем задуматься. Господин, который проделывает операцию перемещения, банковского перевода, рабского знания – действительно ли он к знанию этому так стремится? Действительно ли желание знания ему свойственно? Подлинный господин – как мы могли до недавнего времени наблюдать, хотя это и бросается в глаза все меньше – подлинный господин, повторяю, не желает ничего знать, он желает лишь, чтобы дело шло своим чередом. А зачем ему, собственно, это знание? Он может найти вещи и позанятнее. Каким образом удалось философии вдохнуть в господина желание знания? На этом вопросе мы и расстанемся. Считайте, что это маленькая провокация. Если кто-то найдет к следующему разу ответ, я охотно его выслушаю.

*26 ноября 1969 года.*

# ДОПОЛНЕНИЕ

Следующий сеанс: *Акция протеста*

Лица, по разным причинам испытывающие ко мне сочувствие, предупредили меня, что меня ждет акция протеста.

Они не отдают себе отчета в том, что я, в свою очередь, тоже этой акции ожидаю. Ожидаю на предмет того, что меня крайне интересует – а именно, подтвердит или опровергнет она мои соображения относительно того уровня, на который я помещаю структуру дискурса.

Я только что сказал *я*.

Сказал, очевидно, потому, что дискурс, о котором идет речь, я рассматриваю с другой позиции. Я рассматриваю его с той позиции, в которую помещает меня другой дискурс, – дискурс, эффектом которого я являюсь. Так что все равно в данном случае, скажу ли я, что дискурс *помещает меня* или *помещается*.

На уровне этого дискурса получить возможность выговориться до конца, или, как говорится, прочесть удачный курс – это еще не все. Это тоже, конечно, не последнее дело, и до сих пор грешно было бы сказать, будто на лекциях моих нечего конспектировать.

На самом деле, мне не приходится жаловаться на то, что мне никогда не мешали.

Но акция протеста – это, по-моему, лекции не помеха. И было бы печально, нуждайся я в ней, чтобы это понять.

На самом деле, спокойно я говорю, или нет, зависит в не меньшей мере от атмосферы, в которую погружены мои слушатели. Ведь то, о чем я говорю, является сигналом к приведению в действие вовсе не моего дискурса, а того, чьим эффектом – будем этого подвернувшегося нам термина покуда придерживаться – я сам являюсь.

Я был на прошлой неделе в Венсенне, и многим могло показаться, что происходившее там мне пришлось не по вкусу. Ожидалось, что мое появление там, хотя бы просто хорошо известной публичной фигуры, послужит поводом для обструкции. Неужели кто-то думает, что меня так прос-

то эпатировать? Надо ли говорить, что я прекрасно отдавал себе отчет в том, что там меня ожидало? И неужели кто-то рассчитывает, что инцидент этот поставит меня в какую-то совершенно новую ситуацию – хотя известно, что обструкции эти начались не вчера?

Начну с начала. Во время первых моих занятий, проходивших в госпитале св. Анны, то, что я назвал сейчас атмосферой, в которую погружены мои слушатели, принимало форму своего рода расследований, частота которых мне неизвестна – скорее всего, они имели место раз в месяц, позднее – раз в триместр. Расследования эти состояли в том, что в заведении, которое оказывало мне тогда гостеприимство, студентов озабоченно расспрашивали на предмет того, отвечает ли то, что я им рассказываю, требованиям медицинского образования. Ведь могло оказаться – о ужас! – что преподавание мое не носило медицинского характера.

Но каковы должны были быть требования медицинского образования по отношению к предмету, с которого я свое преподавание начал, то есть к критике Фрейда? Можно ли было ограничиться лишь ссылками, пусть не очень почтительными, на термины, которые, представляя собой центр, самую сердцевину, медицинских дисциплин, считаются неприкосновенными? Следовало ли мне, чтобы лекции мои оставались в рамках медицины, намекнуть на то, что причины невроза обнаружатся рано или поздно в эндокринной системе? Или просто напомнить слушателям, что существует некий элемент, который мы не можем не учитывать и который носит название конституционального? Это было бы по-медицински.

Короче говоря, поскольку я долго на этих реверансах не задерживался, расследования прекратились, и организаторы их пришли к убеждению, что они поставлены в печальную необходимость терпеть в недрах медицинского учреждения учебную дисциплину, которая медицинской не является.

Именно тогда мне дали понять, через людей, которые, как им слишком хорошо было известно, проходя у меня анализ, не могли до меня эту информацию не донести, какое мнение бытовало о моей публике.

Я говорю об этом, так как в сегодняшней аудитории я лучше, чем в прошлый раз, различаю ее составляющие и узнаю отдельные фигуры – среди них много знакомых, чему я рад, как и относительно меньшей тесноте в зале – в прошлый раз здесь была толкотня как в метро.

Многие из вас присутствовали давно в той, первой, аудитории, последовав за мной вплоть до этого места, куда мне в конце концов пришлось перебраться. Можно сказать, что мою аудиторию в госпитале св. Анны действительно составляли те, кто является ныне столпами Фрейдовой школы – говоря так, я не имею в виду, что это люди, на которых нельзя положиться. Достаточно было, кажется, увидеть, как прогуливаются они в половине первого у дверей перед тем, как пойти на занятие, чтобы почувствовать лежащую на них печать токсикомании и гомосексуальности. Это просто носилось в воздухе. Это было видно во всем – в их стиле, облике, поведении.

Я хочу сказать, что отнюдь не со вчерашнего дня публика моя производит по своему составу – почему, собственно, не устаю я сам себя спрашивать – впечатление несколько неудобной. Мы испытали это на себе в месте, где оставались, в чем я, разумеется, благодарен тем, кто этому способствовал, достаточно долго. Не думайте, впрочем, будто молва о неудобном характере моей аудитории могла родиться в случайном месте.

Именно ученики Нормальной Школы, эти баловни Университета, прекрасно знающие, что для преподавания дисциплины вовсе не надобно ее знать, обнаружили, что на семинаре у меня происходят странные вещи. Там, оказывается, когда вы курите – почему я, между прочим, не раз повторял, что вы могли бы от этого и воздержаться – так вот, когда вы курите, происходит нечто такое, что я нигде больше не наблюдал – дым проникал через потолок в расположенное выше помещение библиотеки, так что деликатные легкие работавших там студентов этого не выдерживали.

Вещи столь необычные только с такой публикой, как вы, и могут произойти. На значение этого факта я вам как раз и указываю.

[*Входит служитель*]

Перед вами, во всей красе, акт протеста, который я вам предсказывал. Человек этот поистине очень трогателен.

Все это происходит в зоне, значение которой подобные действия нисколько не умаляют.

[*Служитель выключает свет и доска становится не видна*]

Сколь бы занятные шутки нам организаторы ни уготовили, я вынужден на этом занятие завершить.

*10 декабря 1969 года.*



# КООРДИНАТЫ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОРОТА

# II
# ГОСПОДИН И ИСТЕРИК

*Знание, которое не знает.*
*Истеризация дискурса.*
*Знание и истина.*
*Недосказанное.*
*Загадка, цитата, истолкование.*

| У | Г | И | А |
|---|---|---|---|
| $\frac{S_2}{S_1} \rightarrow \frac{a}{\$}$ | $\frac{S_1}{\$} \rightarrow \frac{S_2}{a}$ | $\frac{\$}{a} \rightarrow \frac{S_1}{S_2}$ | $\frac{a}{S_2} \rightarrow \frac{\$}{S_1}$ |

На эти четыре формулы мы в дальнейшем станем ссылаться.

Те, кто присутствовали на первом занятии семинара, может быть, слышали, как я напоминал там о формуле, согласно которой означающее, в отличие от знака, это то, что представляет субъект для другого означающего. Поскольку другое означающее, судя по всему, ничего об этом не знает, ясно, что речь в данном случае идет не о представлении, а о представителе.

Благодаря чему я счел тогда же возможным проиллюстрировать этой формулой то, что назвал я дискурсом господина.

## 1

То, что оказалось возможным свести дискурс господина к единственному означающему, предполагает, что означающее это что-то собой представляет. Сказать *что-то* означает уже в данном случае сказать слишком много – оно представляет собой *x*, то самое, характер чего нам и предстоит как раз в данном случае выяснить.

И в самом деле, ведь ничто не указывает на то, в чем

именно навязывает господин свою волю. Что необходимо согласие, это несомненно, и то, что в качестве означающего абсолютного господина Гегель мог привести только смерть, является в данном случае знаком – знаком того, что это псевдо-начало никак проблему не разрешает. И в самом деле, ведь для того, чтобы положение дел сохранялось, господину пришлось бы, чтобы подтвердить свое господство над смертью, воскреснуть – другими словами, ему пришлось бы пройти через испытание. Что касается раба, то положение у него точно такое же – только он через это испытание отказался пройти.

Загадка функции господина не дается, как видим, так уж легко. Я указываю на это, потому что мы находимся на верном пути – на пути, который нами, без ложной скромности, был открыт и который теорией бессознательного отнюдь не является, – когда утверждаем, что вовсе не само собой разумеется, будто всякое знание, будучи знанием, знает себя непременно как таковое.

То, с чем мы в опыте психоанализа, пусть самого элементарного, немедленно сталкиваемся, относится не к разряду познания или представления, а именно к разряду знания. Речь идет, если уж говорить точно, о чем-то таком, что связывает означающее $S_1$ с другим означающим $S_2$, выступающим как его основание.

Термины эти довольно, я сказал бы, рассыпчаты – я прибегаю к этой метафоре, чтобы донести до вас смысловой оттенок, которым окрашено у меня в данном случае слово *знание*.

Именно в этом контексте, и лишь постольку, поскольку оно не знает себя, обретает устойчивость то, что себя знает, выдавая себя в спокойной уверенности за эдакого маленького господина, за *я*, за знатока.

Время от времени, между тем, происходят, мы видим, сбои. Именно в этих случаях врываются в ход вещей ляпсусы и огрехи, в которых дает о себе знать бессознательное. Причем лучше и глубже, чем в свете психоаналитического опыта.

Порою мы позволяем себе прочесть биографию. Мы делаем это, когда документов, имеющихся в нашем распоряжении, достаточно, чтобы ясно было, чем человек жил,

к чему считал себя предназначенным, и насколько, по его мнению, он свое предназначение осуществил.

Однако имея в виду, что знание не обязательно себя знает, вполне возможным окажется, читая подобную биографию, понять, на уровне какого бессознательного знания происходила работа, обнаруживающая истину всего того, что полагало, будто существует.

Возвращаясь к анализу схемы дискурса господина, укажем, что именно невидимая работа раба, та самая, что формирует латентное бессознательное, обнаруживает, стоит ли эта жизнь того, чтобы о ней говорить. Потому то и возникает вокруг истин, истинных истин, столько заблуждений, ошибок, вымыслов.

Знание, таким образом, оказывается в центре психоаналитического опыта, помещается им, так сказать, на скамью подсудимых. Уже это, само по себе, возлагает на нас обязанности его допрашивать, ничем себя в этом допросе не ограничивая. Вообще говоря, мысль о том, будто знание как-то, где-то, хотя бы в чаемом будущем, способно стать замкнутым целым – мысль эта и без всякого психоанализа вызывала сомнения.

Возможно даже, что сомнения эти, в случае скептиков, заходили излишне глубоко. Под скептиками я разумею тех, кто некогда составлял под этим именем школу, – у нас о ней теперь очень слабое представление. Но в конце концов кто знает, какой от них нам был бы прок? Что мы можем узнать о них из того, что нам от этой школы осталось? Благоразумней, быть может, воздержаться от мнения по этому поводу. От знания их дошло до нас, вероятно, лишь то, что способны оказались у них почерпнуть другие, те, кто понятия не имели, откуда исходили скептики в своих радикальных формулах, ставивших под сомнение всякое знание вообще, не говоря уже о целостном знании.

Что действительно хорошо показывает, насколько малую роль играют здесь школы, так это тот факт, что идея, будто знание может быть целостным, остается, если можно так выразиться, имманентна политике как таковой. Это известно издавна. Воображаемая идея целого в том виде, в котором дана она нам в представлении о теле, основанном на бла-

готворной для него форме, в пределе своем составляющей сферу, всегда в политике, в политической демагогии, активно использовалась. Что, в самом деле, можно представить себе прекраснее и в то же время ограниченнее ее? Что еще так напоминает монастырскую ограду удовлетворения?

Подспудная связь этого образа с идеей удовлетворения – вот то, с чем приходится бороться нам всякий раз, когда в работе, о которой идет здесь речь, в работе прояснения путей бессознательного, мы сталкиваемся с чем-то таким, что образует узел. Здесь перед нами препятствие, предел, или, скорее, вата, где мы теряем направление и увязаем.

Удивительно, что такое учение, как марксизм, учение, сумевшее артикулировать функцию классовой борьбы, не преминуло, однако, породить проблему, с которой сталкиваемся сегодня мы все, то есть оказать поддержку дискурсу господина.

Конечно, этот последний имеет уже другую структуру, нежели тот, древний, исходящий из места, которое вы найдете на схеме Г. Его место нужно искать на другой схеме, которую вы видите под буквой У. И я вам объясню, почему. Место, которое мы предварительно называем господствующим, занимает в нем, как видите, $S_2$, которое является, по определению своему, не всезнанием, нам до этого далеко, а всецело знанием. Тем, другими словами, что утверждает себя как знание в чистом виде и что мы, на повседневном языке, зовем бюрократией. С этим, надо признать, связаны кое-какие проблемы.

На первом моем занятии, том, что состоялось три недели назад, мы исходили из того, что в первом варианте дискурса господина знание было уделом раба. И я счел возможным утверждать, хотя у меня и не было времени, в связи с досадными мелкими неприятностями, эту мысль развивать, что различие между дискурсом античного господина и дискурсом господина современного, так называемым капиталистическим, обусловлено изменением места знания. Более того, я позволил себе предположить, что ответственность за это преобразование лежит на философской традиции.

Так что если мы, оправдывая революцию и ее достижения, именуем пролетария обездоленным, то происходит

это оттого, что он действительно – до того, естественно, как лишиться общинной собственности, оказался кое-чем обездолен.

Не ясно ли, однако, что возвращенное ему не обязательно является тем, что ему действительно принадлежит. В самом деле, ведь капиталистическая эксплуатация не дает ему воспользоваться своим знанием, делает это знание бесполезным. То, что ему, в результате своего рода переворота, достается – это совсем другое: знание господина. Вот почему он в итоге меняет одного господина на другого, только и всего.

Нетронутой остается сама суть господина – он не знает, чего он хочет.

Вот что составляет подлинную структуру дискурса господина. Раб знает многое. Но что он знает еще лучше, так это что хочет господин, даже если этот последний не знает этого сам – как это обычно и бывает, так как иначе он господином не был бы. Раб же это знает, и в этом его, раба, главная функция и состоит. Именно поэтому система, собственно, и работает – работает, так или иначе, уже давно.

Тот факт, что всецелое знание заняло место господина, не столько проясняет, сколько затемняет то, о чем идет речь, то есть истину. Отчего происходит так, что на месте этом находится означающее господина? Ибо перед нами не что иное, как $S_2$ господина, являющее собой стержень новой тирании знания. Это то самое, что делает невозможным появление – чаемое нами, быть может – в ходе исторического развития на этом месте того, что имеет отношение к истине.

Знак истины находится теперь в другом месте. Ему предстоит стать продуктом того, что пришло на смену античному рабу, то есть теми, кто сами являются продуктом, таким же продуктом потребления, как и другие. Недаром называют наше общество *обществом потребления*. *Человеческий материал* – как назвали его в свое время. Назвали под аплодисменты тех, кому почудилась в этих словах симпатия.

Указать на это стоило обязательно, так как теперь нам предстоит задаться вопросом о том, о чем, собственно, идет речь в психоаналитическом акте.

## 2

Я не стану рассматривать этот акт на уровне, на котором надеялся я два года тому назад завязать так и оставшуюся незатянутой петлю того акта, в котором находит свое место психоаналитик, в котором он как таковой утверждается. Я рассмотрю его на уровне аналитического вмешательства, имеющего место тогда, когда границы аналитического опыта уже четко установлены.

Если знание, которое себя не знает, действительно есть, то располагается оно, как я уже сказал, на уровне $S_2$, то есть на уровне того, что я назвал другим означающим. Оно, это другое означающее, не одиноко. Чрево Другого, большого Другого, набито им до отказа. Это чрево, своего рода чудовищный троянский конь, и создает как раз почву для фантазии об абсолютном знании. Ясно, однако, что в силу самой предназначенной ему роли кто-то должен обязательно постучать снаружи – в противном случае ничто из этого чрева наружу не выйдет. И Троя так и не будет взята.

Что нового вводит в ситуацию аналитик?

О психоаналитическом дискурсе вокруг только и говорят – можно подумать, за этим что-то стоит. Если исходить при характеристике дискурса из его доминанты, то существует дискурс аналитика, и его не надо путать с дискурсом, сложившимся в психоанализе, с тем дискурсом, который действительно в психоаналитическом опыте имеет место. То, что аналитик в качестве аналитического опыта проводит в жизнь, можно описать очень просто – это истеризация дискурса. Другими словами, это создание искусственных условий для возникновения того, что является, по своей структуре, дискурсом истерика, тем, что обозначен у меня на схеме заглавной буквой *И*.

В прошлом году я попытался заострить на этом внимание, сказав, что дискурс этот существует, причем существует в любом случае, как в связи с психоанализом, так и без него. Я выразил эту мысль в образной форме, обратившись к тому самому обычному, из чего она выросла, откуда почерпнут решающий для нас опыт, – к тем уловкам, петляющим следам, в которых прослеживается недоразумение, именуе-

мое в человеческом роде сексуальными отношениями.

Имея в своем распоряжении означающее, надо приходить к взаимопониманию, и как раз поэтому взаимопонимания не происходит. Означающее не создано для сексуальных отношений. Стоило человеческому роду заговорить, как все пропало, с гармоническим и совершенным идеалом совокупления – нигде в природе, кстати, не отмеченного – оказалось покончено. Способов общения полов в природе великое множество и большинство из них, кстати, совокупления не предусматривают, что лишний раз показывает, насколько мало природа заинтересована в том, чтобы в половом акте возникало целое, сфера.

В любом случае, ясно одно: если человек, худо-бедно, с этим справляется, то лишь благодаря особому фокусу, делающему, для начала, эту задачу неразрешимой.

Это как раз и имеет в виду, при всей изворотливости своей, дискурс истерички. Говоря *истерички*, мы делаем истерического субъекта женщиной, но истеричность не является на самом деле ее привилегией. Анализ проходит множество мужчин, которые, уже в силу этого, волей-неволей проходят через дискурс истерика, так как в психоанализе это закон, правило игры. Важно узнать, однако, какой свет может это пролить на отношения между мужчиной и женщиной.

Мы видим, таким образом, что истеричка фабрикует, насколько это в ее силах, мужчину, – мужчину, которого одушевляло бы желание знания.

На прошлом семинаре я как раз об этом знании и поставил вопрос. Легко видеть, что в ходе истории господин постепенно лишал раба его знания, превращая это последнее в знание господина. Что остается непонятным, так это как подобное желание могло прийти ему в голову. Ведь без желания, поверьте мне, он превосходно обходился, поскольку раб удовлетворял его прежде, чем он соображал, что он, собственно, мог пожелать.

Именно в этом направлении шли бы в прошлый раз мои размышления, не случись в Реальном этого милого происшествия – мне сказали, что то было Реальное деколонизации. Что все дело в некоем госпитализированном алжирце,

нашедшем у нас приют. Милая шалость, как видите, благодаря которой я так и не узнаю, по крайней мере до поры до времени, так как чтобы двигаться вперед нужно время, в чем, по-моему, родственен философский дискурс дискурсу истерика – ведь именно философский дискурс вдохнул, похоже, в господина желание знания. Что может представлять собой истерия, о которой здесь идет речь? Перед нами девственная территория, вторгаться на которую еще рано. Если найдутся здесь люди, привыкшие мысленно забегать вперед лектора, талант их найдет здесь достойное применение. Я уверяю их, что перспектива видится мне многообещающей.

Как бы то ни было, чтобы дать нашей формуле более широкое содержание, а не сводить ее в плоскость отношений между мужчиной и женщиной, отметим, что, прочтя эту запись дискурса истерика, мы так и остаемся в неведении относительно того, что представляет собою *$*. Но если речь идет о дискурсе истерика и если именно этот дискурс дает начало человеку, одушевленному желанием знания, – о знании чего идет речь? О знании того, чего стоит она сама, та личность, которая говорит. Ибо в качестве объекта *a* она представляет собой провал, провал на том месте, где дискурс должен возыметь действие, дискурс, круг которого всегда где-то оказывается разомкнут.

Дело в том, что в конечном счете истерик хочет дать знать, что язык пробуксовывает, не в силах охватить то, что больной истерией может, будучи женщиной, открыть нам о наслаждении. Но для истерического больного важно совсем не это. Что для нее действительно важно, так это чтобы другой, который носит имя мужчины, знал, каким бесценным объектом становится она в этом контексте, контексте дискурса.

Но состоит, в конечном счете, основа аналитического опыта именно в этом: в том, что он предоставляет другому, как субъекту, возможность занять активную позицию в дискурсе истерика, то есть истеризирует его дискурс, делает его субъектом, от которого требуется отказаться от всяких связей с внешним миром за пределом окружающих его четырех стен и предъявить означающие, которые образуют пресловутое поле свободных ассоциаций.

Говорить что попало – какой был бы в этом толк, если бы не было раз и навсегда установлено, что в случайно порождаемой цепи означающих нет ничего, что именно потому, что речь идет об означающих, не соотносилось бы с тем знанием, которое не знает себя и которое на самом деле здесь и работает?

Почему бы, впрочем, говорящему не знать об этом побольше? Если аналитик не берет слово, то к чему это изобильное порождение $S_1$ способно привести? Ко множеству разных вещей.

Выслушивая пациента, аналитик многое может заметить. Самый средний из наших современников может, если его ничего не сдерживает, наговорить информации на целую небольшую энциклопедию. Если все это зарегистрировать, это дало бы к нему множество ключей. Можно было бы потом даже такой ключ сконструировать, заказать такую электронно-вычислительную машину. Эта идея, кстати, пришлась бы кое-кому по вкусу – они с удовольствием создали бы такую машину, что аналитику для ответа достаточно было бы вывести результат на печать.

Посмотрим теперь, что происходит в дискурсе аналитика. Теперь он, аналитик, занимает позицию господина. В какой форме? Объяснение мне придется отложить до будущих наших встреч. Почему принимает он форму *a*?

Именно с его стороны находится $S_2$, знание: как то знание, что получает он, выслушивая пациента, так и то, заранее им приобретенное и вполне определенное, знание, которое сводится на каком-то уровне к навыкам аналитической работы.

Что важно, однако, в этой схеме понять, так это то, что знание, о котором идет речь, совсем другое – недаром же я, поместив в дискурсе господина $S_2$ на место раба, переместил его затем в дискурсе современного господина в позицию господина.

Там, в крайнем правом дискурсе на доске, на каком месте оно у меня стоит? На месте, которое Гегель, это возвышеннейший из истериков, отводит в дискурсе господина истине.

Неправда, на самом деле, что «Феноменология духа» исходит из *Selbstbewusstsein*, взятого якобы на самом непос-

редственном уровне, уровне ощущения, предполагая тем самым, что всякое знание изначально знает себя. Зачем вся эта феноменология была бы нужна, не будь здесь дело в чем-то другом?

То, что я называю, говоря об этом дискурсе, истерией, связано как раз с тем, что он затушевывает различия, позволяющие заметить, что даже в случае, если бы эта историческая машина, представляющая собой на самом деле лишь череду школ и ничего больше, пришла бы все-таки к абсолютному знанию, то результатом стало бы крушение, развал того, что одно функцию знания, собственно, и мотивирует, – диалектики, связывающей знание с наслаждением. Абсолютное знание обернулось бы просто-напросто упразднением этого второго полюса. У любого, кто возьмется за труд внимательно прочесть «Феноменологию», не останется на этот счет никаких сомнений.

Что же нового дает нам перемещение $S_2$ на место истины?

## 3

Истина как знание – что это такое? Другими словами – как можно знать, не зная?

Перед нами загадка. Это, собственно, и есть пример ответа. Я приведу вам еще один.

Оба имеют одну характерную для истины особенность – истину никогда не удается высказать целиком. Дорогая нам истина картинок из Эпиналя, истина без покровов – это всегда тело.

Как-то в Италии, на одной из лекций, которые меня пригласили, не знаю почему, прочитать – задача, с которой я справился тогда, я знаю, очень посредственно – я говорил о Химере, существе, в котором и находят как раз свое воплощение черты, характерные для дискурса истерика. Химера задает загадку человеку по имени Эдип, уже тогда, вероятно, отягощенному комплексом, хотя наверняка не тем, которому досталось впоследствии его имя. Эдип дает ей ответ – именно так и становится он Эдипом.

На вопрос, заданный ему Химерой, он мог бы дать и много

других ответов. Он мог, например, сказать так: ага, две ноги, три ноги, четыре ноги – так это же схема Лакана! Результат был бы совсем другой. Он мог сказать и иначе: это человек в младенчестве, грудной ребенок. Начинает он на всех четырех. Стоит ему встать на две, как он тут же обретает третью и пулей устремляется в живот своей матери. Именно это по праву комплексом Эдипа и называют.

Вам ясно, полагаю, какова здесь функция загадки – это и есть недосказанность, половинчатость, как половинчато тело самой Химеры, исчезающее и вовсе, когда загадка получает решение.

Знание в качестве истины – именно такова должна быть структура так называемого истолкования.

Настаивая так долго на различии между уровнями акта высказывания, с одной стороны, и самого высказывания, с другой, я и хотел как раз, чтобы функция загадки таким образом прояснилась. Загадка – это, наверное, акт высказывания и есть. Сделать из него высказывание я предоставляю вам. Выходите из положения как знаете – как и Эдип – и последствия будут на вашей совести. В загадке все дело в этом.

Но есть еще кое-что, о чем обычно не думают и чего я касался, затрагивал время от времени, хотя на самом деле это заботило меня настолько серьезно, что говорить об этом мне нелегко. Я имею в виду цитирование.

В чем цитирование состоит? В процессе написания текста, бодро подвигаясь вперед, вы, когда речь заходит о классовой борьбе, неожиданно цитируете Маркса, прибавляя к этому слова: Маркс сказал. Если вы психоаналитик, то вы цитируете Фрейда, прибавляя непременно: *как сказал Фрейд.*

Загадка – это акт высказывания, а с высказыванием вы разбирайтесь сами. Цитата, это вот что – я привожу высказывание, а в остальном адресую вас к автору, в лице которого нахожу солидную поддержку. Это меня устраивает, и более или менее шаткий статус функции автора совершенно здесь не при чем.

Когда цитируется Маркс или Фрейд – эти два имени выбрал я не случайно – то делается это в силу позиции, кото-

рую предполагаемый читатель занимает в дискурсе. Цитата – это тоже недосказанность, на свой лад. Это высказывание, приемлемое, как вам дают понять, лишь постольку, поскольку вы уже являетесь участником дискурса с определенной структурой – одного из четырех базовых дискурсов, что вы видите на доске. Это единственное – не знаю, мог ли я это объяснить раньше – в силу чего цитата, то есть тот факт, что тот или иной автор цитируется или, наоборот, нет, может, на другом уровне, получить значение. Я вам это сейчас поясню, и надеюсь, что объяснение вам понравится, потому что пример я выбрал знакомый.

Представьте себе, что цитируется, из вторых рук, фраза, помеченная именем того автора, из которого она взята, например г-на Рикера. Представьте себе теперь, что, цитируя ту же фразу, ее приписывают мне. Смысл в обоих случаях ни в коем случае не будет один и тот же. Я говорю это в надежде дать вам понять, как обстоит дело с тем, что я называю цитатой.

Так вот, эти два регистра, оба отмеченные недосказанностью, как раз и являются средой истолкования, тем знаком, если можно так выразиться, под которым оно дается.

Истолкование – те, кто пользуются им, не могут этого не замечать – часто основывается именно на загадке. На загадке, обнаруженной по мере возможности в самой ткани дискурса анализирующего себя пациента, загадке, которую вы, истолкователь, не можете ни в коем случае ничем от себя дополнить, которую вы не можете, не обманывая, рассматривать как признание. Другая его основа – цитата, то или иное высказывание, заимствованное, порой, из того же самого текста. Она тоже может сойти за признание, при условии только, что вы введете ее в полноту контекста. При этом, однако, вы апеллируете к тому, кто является ее автором.

Что в постановке аналитического дискурса, являющегося источником переноса, действительно поражает, так это вовсе не то, что аналитик, как некоторые, будто бы, от меня слышали, оказывается в роли субъекта якобы знающего. Если слово предоставляется анализирующему пациенту настолько свободно – а он воспринимает эту свободу именно так – то за ним признается тем самым право говорить в ка-

честве господина, то есть он может говорить, как птица поет. И хотя это не принесет результатов столь же блестящих, как в случае настоящего господина, зато должно, по идее, привести его к знанию, – к знанию, залогом, заложником которого является тот, кто заранее дает согласие стать продуктом размышлений своего пациента, – психоаналитик, назначение которого состоит в том, чтобы в конце концов оказаться утраченным, исключенным из этого процесса.

Что же говорит о том, что он способен занять это место – место, которое на уровне дискурса господина принадлежит господину? Уже элементарные отношения господина с рабом свидетельствуют о том, что желание господина – это желание Другого, поскольку раб предвосхищает именно желание.

Другой вопрос, чье место должен занять аналитик, чтобы заработал процесс нагрузки субъекта якобы знающего, – субъекта, само признание которого знающим заранее, в свою очередь, чревато тем, что зовется у нас переносом.

Увидеть, как пробегает здесь легкая тень удовлетворения от признания, ничего, конечно, не стоит. Это не самое главное, если мы предположим, что он, субъект, знает, что он идет в своих действиях дальше истерика, для которого это лишь истина его поведения, а не само его существо.

Он, аналитик, становится причиной желания анализирующего себя пациента. Что эта аномалия значит? Не следует ли нам считать ее за простую случайность, историческое явление, впервые в мире о себе заявившее?

Предвосхищая мысль, которая потребует от нас, возможно, продолжительного отступления, отмечу лишь, что функция, о которой я говорю, имела место и раньше, и что не случайно Фрейд так часто и охотно обращался к досократикам, в том числе к Эмпедоклу.

Поскольку я знаю, что в два часа в этом амфитеатре начнутся занятия, я буду в дальнейшем, начиная с сегодняшнего дня, заканчивать без четверти два. Следующее занятие состоится во вторую среду января.

*17 декабря 1969 года.*

# III
# ЗНАНИЕ, СРЕДСТВО НАСЛАЖДЕНИЯ

*Как меня переводят.*
*Доминанты и факты структуры.*
*Повторение и наслаждение.*
*Продуцирование энтропии.*
*Истина – это бессилие.*

| У | Г | И | А |
|---|---|---|---|
| $\frac{S_2}{S_1} \to \frac{a}{\$}$ | $\frac{S_1}{\$} \to \frac{S_2}{a}$ | $\frac{\$}{a} \to \frac{S_1}{S_2}$ | $\frac{a}{S_2} \to \frac{\$}{S_1}$ |

Мне оставили на этот раз красный мел, ярко красный. Красное на черном – не факт, что это можно разглядеть.

Формулы это не новые – я уже писал их в прошлый раз на доске.

Их полезно иметь таким образом перед глазами, ибо как бы просты они ни были, как бы легко ни выводились одна из другой простым поворотом схемы – ведь порядок терминов остается один и тот же – мы не способны представить их в нашем воображении с четкостью, которая делала бы излишней их присутствие на доске.

Итак, мы продолжаем заниматься тем, чем я теперь, то есть в одно и то же время, будь то здесь или в другом месте, по средам в половине первого пополудни, занимаюсь с вами вот уже семнадцать лет.

Об этом нелишне напомнить сегодня, когда все ликуют по случаю вступления в новое десятилетие. Для меня это, скорее, повод обратиться назад, к тому, что принесли мне предыдущие десять лет.

## 1

Десять лет назад двое из моих учеников представили публике некий выросший из лакановских положений текст под заглавием «Бессознательное. Психоаналитическое исследование».

У истоков этого лежало то, что можно назвать суверенным актом. Суверен – это единственный, кто способен на свободный поступок, если понимать под свободным поступком поступок, который можно назвать произвольным, согласившись на том, что *произвольный* означает *не продиктованный никакой необходимостью.* И когда суверен, мой друг Анри Эй, поставил на повестку дня проходившего в Бонвале конгресса тему *Бессознательное* и доверил редактирование его материалов, по крайней мере частично, двум моим ученикам, никакой необходимости в этом действительно не было.

В каком-то смысле работа эта показательна. И на то есть, на самом деле, причины. Она показательна в отношении того, как они, мои ученики, полагали возможным довести до сведения определенной группы людей мое мнение по поводу одной интересной темы, действительно интересной, так как речь шла ни больше ни меньше, как о бессознательном, то есть о том корне, из которого все мое учение выросло.

Группа эта отличилась тем, что наложила на говорившееся мною своего рода прещение. Интерес, который она питала ко мне, нашел выражение в том, что я недавно, в одном написанном мною небольшом предисловии, назвал *запретом по меньшей мере на пятьдесят лет.* Дело было, не забудьте, в 1960 году, когда мы еще далеки были – а ближе ли мы стали сейчас, это еще вопрос – от того, чтобы ставить права любой власти – в том числе, власти знания – под вопрос. Так что приговор этот, носивший черты очень своеобразные – одна из них наводила на мысль о претензии на своего рода монополию, монополию на знание – приговор этот был буквально и безоговорочно соблюден.

Это говорит о том, какой труд предстоял людям, взвалившим на себя подобную задачу – они должны были донести до слуха этих людей нечто поистине неслыханное.

Как они с этой задачей справились? Сейчас самое время подытожить происходившее, поскольку тогда об этом не могло быть и речи – достаточно и того, что все это прозвучало перед людьми, которые были абсолютно не в курсе дела и понятия не имели о том, чему я учил предшествующие семь лет. Для тех, кто поднимал эту целину, несвоевременно, в свою очередь, было добавлять от себя что-либо такое, что могло впоследствии нуждаться в поправках. Но многое при этом было ими сформулировано просто великолепно.

Итог этот я хочу подвести в связи с диссертацией, недавней диссертацией, которая была написана, вы не поверите, во франкоговорящей области, населению которой приходится вести ожесточенную борьбу за сохранение своих прав на родной язык. Именно там, в Лувене, была написана диссертация о том, что называют – несправедливо, по всей видимости – моим творчеством.

Диссертация эта, не надо забывать, представляет собой диссертацию университетскую, и первое, что бросается в глаза, это насколько плохо мое творчество этому жанру поддается. А потому не лишним окажется, если введением в заявленную диссертацией тему послужит тот вклад, который был внесен в исследование этого творчества, в кавычках, другим представителем университетского знания. Вот почему один из авторов пресловутого доклада в Бонвале был и здесь выдвинут на передний план, причем подано это было таким образом, что в своем предисловии мне поневоле пришлось указать, насколько далеко то, что является, в данном случае, передачей моих высказываний, отстоит от того, что я, собственно говоря, сказал.

В своем маленьком предисловии, написанном для этой диссертации, которая вскоре будет опубликована в Брюсселе – понятно, что мое предисловие послужит для нее своего рода попутным ветром – я вынужден был отметить – и в этом единственная его польза – что совсем не одно и то же, сказать, что бессознательное является условием языка, или, наоборот, что язык является условием бессознательного.

Язык является условием бессознательного – вот мои подлинные слова. Способ, которым эти слова предпочита-

ют передавать, обусловлен соображениями, которые можно, конечно же, объяснить, вплоть до деталей, мотивами, характерными для университетского способа рассуждать – что способно завести весьма далеко и вам, возможно, предстоит в нынешнем году этот путь проделать. Именно университетским подходом обусловлен тот факт, что человек, который передает мою мысль, чей стиль и способ рассуждения сформирован университетской выучкой, не может, независимо от того, считает ли он себя моим комментатором, не вывернуть мою формулу наизнанку, то есть не придать ей смысл, строго противоположный истинному, нисколько не соответствующий тому, что говорю я.

Трудность перевода меня на университетский язык почувствует, безусловно, каждый, кто, с какой бы то ни было целью, за эту задачу возьмется – что касается автора диссертации, о которой я говорю, то его одушевляли самые лучшие, исключительно добропорядочные намерения. Диссертация эта, которая должна вскоре выйти из печати в Брюсселе, сохраняет тем не менее всю свою ценность как сама по себе, так и в качестве назидательного примера того неизбежного, в каком-то смысле, искажения, которому подвергается при переводе в университетский дискурс то, что имеет свои законы.

Законы эти мне как раз и предстоит начертать. Речь идет о законах, которые призваны сформулировать по меньшей мере условия аналитического дискурса в собственном смысле слова. При этом следует, как я подчеркнул уже в прошлом году, отдавать себе отчет в том, что сам факт провозглашения их с этой кафедры несет в себе риск ошибки, создает эффект преломления, возвращающий сказанное, в определенной степени, в рамки университетского дискурса. Здесь шаткой является сама основа.

Разумеется, я ни в коей мере не претендую на известную позицию. Уверяю вас, что каждый раз, когда я здесь беру слово, главное для меня не в том, что мне предстоит вам сказать, не в вопросе: *о чем я буду им на этот раз говорить?* Функция преподавателя – это своего рода роль, обусловленная местом, которое он занимает, и которое, безусловно, сообщает ему определенный престиж – так вот, я в этом

смысле ни на какую роль не претендую. Не это мне от вас требуется, мне требуется от вас, скорее, что-то вроде дисциплинарных обязательств, налагаемых самим фактом, что формулировки мои должны пройти ваш строгий экзамен. От этих обязательств я бы, разумеется, как и любой человек, сумел увильнуть, если бы здесь, окруженный слушателями, среди которых найдутся и настроенные критически, не предстояло мне, невзирая на опасения, объяснить то, как выглядит ход моей деятельности в связи с наличием в ней психоаналитической составляющей.

Такова ситуация, в которой я нахожусь. Ее, этой ситуации, статус так и не был подобающим образом отрегулирован. В лучшем случае, это делалось по аналогии, по подобию, в согласии с тем, что подсказывали другие многочисленные ситуации, уже никаких сомнений не вызывавшие. Приводит это в данном случае к жалкой практике, основанной на отборе, к определенного рода фигуративной идентификации, к определенному способу себя держать, к созданию, одним словом, человеческого типа, чья форма не содержит в себе, похоже, ничего обязательного, а также некоего ритуала, или иных методов, которые я сравнивал в добрые старые времена с теми, что практикуются в школах вождения – не вызывая при этом, кстати сказать, ни малейших протестов с чьей-либо стороны. Один из моих тогдашних очень близких учеников справедливо заметил мне, что настоящим желанием тех, кто стремился к карьере профессионального аналитика, как раз и было, как в школе вождения, получить права в согласии с предусмотренными правилами и сдав соответствующий экзамен.

Замечательно, конечно – то есть, стоит отметить – что по прошествии десяти лет работы мне удалось-таки артикулировать ту ее, этой позиции аналитика, особенность, которую я называю ее дискурсом – называю предположительно, поскольку именно это я представляю в этом году на ваш суд. А именно – что мы можем сказать о том, как этот дискурс выстроен?

## 2

Итак, ее, позицию психоаналитика, мне удалось сформулировать следующим образом. Я утверждаю, что по субстанции своей она есть не что иное, как объект *а*.

В предложенной мной артикуляции того, что представляет собой, насколько она интересует нас здесь, структура дискурса, рассмотренная, скажем так, на том радикальном уровне, к которому возводит ее дискурс аналитический, позиция эта, по субстанции своей, есть позиция объекта *а*, так как он, объект этот, как раз и представляет собой то самое, что среди всех эффектов этого дискурса оказывается наименее прозрачным, издавна пренебрегаемым и тем не менее самым существенным. Эффект, о котором идет речь, это эффект выброса. Я попытаюсь сейчас очертить вам его место и функцию.

Вот то, что позиция психоаналитика представляет собой в отношении своей субстанции. Но роль, которую занимает в этой позиции объект *а*, определяется еще одним фактором – дело в том, что он занимает тут место, исходя из которого дискурс выстраивается, где берет начало, скажем так, его доминанта.

Вы сами чувствуете, что употребление этого слова здесь небезоговорочно. Термин *доминанта* нужен мне, собственно говоря, для того, чтобы указать на различия между структурами каждого из этих дискурсов, именуя их, в соответствии с положением, которое занимают в них эти термины-доминанты, дискурсами университета, господина, истерика и аналитика. Скажем так: будучи не в силах теперь же сообщить этому термину иное значение, я называю доминантой то, что помогает мне присвоить соответствующему дискурсу имя.

Слово *доминанта* не предполагает господства, которое связывала бы ее – что вовсе не факт – с дискурсом господина. Можно сказать, что доминанта эта получает, в зависимости от вида дискурса, различное субстанциональное содержание.

Возьмем, к примеру, дискурс господина, где место доми-

нанты занимает $S_1$. Назвав ее *законом*, мы сделаем шаг, который субъективно вполне оправдан и способен раскрыть нам глаза на многие интересные вещи. Нет сомнения, скажем, что закон – мы имеем в виду закон артикулированный, тот самый закон, в твердыне которого нашли мы в последнее время с вами убежище, тот закон, который составляет право – не должно ни в коем случае считать омонимичным тому, что может, в другом месте, фигурировать под именем правосудия. Напротив, двусмысленность, плоть, в которую закон облекается, опираясь на правосудие, и есть то самое, чьи подлинные пружины наш дискурс как раз и позволит, возможно, лучше всего проследить – я имею в виду те пружины, которые делают возможной эту двусмысленность и благодаря которым закон является прежде всего и в первую очередь чем-то таким, что вписано в структуру. Вдохновляется закон доброй волей и правосудием, или нет, кроить его на тысячу разных ладов все равно нельзя, так как существуют, вероятно, законы структуры, в силу которых закон всегда останется законом, занимающим место, которому присвоил я в дискурсе господина название доминанты.

На уровне дискурса истерика доминанта эта, ясное дело, является нам в форме симптома. Именно вокруг симптома все, свойственное дискурсу истерика, организуется и сосредотачивается.

Это подает повод к одному замечанию. Если место это остается одним и тем же, и если, в данном конкретном дискурсе, его занимает симптом, это приводит к тому, что и в других дискурсах мы обращаемся к этому месту как месту симптома. Именно это и происходит теперь на наших глазах – закон как симптоматическое образование ставится в наши дни под вопрос. И для объяснения этого недостаточно сослаться на то, что в свете сегодняшнего дня это, мол, очевидно.

Я только что сказал вам о том, что может оказаться на этом месте, когда дело касается аналитика. Сам аналитик призван репрезентировать здесь каким-то образом эффект выброса из дискурса, то есть объект *a*.

Значит ли это, что нам так же просто будет охарактеризовать пресловутое доминантное место и в другом случае,

когда речь пойдет о дискурсе университета? Каким другим именем подобает его назвать – именем, которое вписалось бы в эквивалентные отношения, установленные нами только что, пусть лишь гипотетически, между законом, симптомом, и отбросом, то есть тем местом, которое обречен занять аналитик в психоаналитическом акте?

Само затруднение наше в ответе на вопрос о том, что составляет суть университетского дискурса, его доминанту, должно дать нам предчувствие чего-то такого, что имеет к нашему исследованию непосредственное отношение, так как я как раз и намечаю сейчас те пути, которыми движется, бредет, блуждает, задаваясь вопросами, моя мысль, прежде чем найти себе надежные точки опоры. Тут-то нам и может придти в голову идея поискать то, что в каждом из этих дискурсов показалось бы нам безусловно подходящим для характеристики хотя бы одного места – не менее подходящим, чем термин *симптом*, найденный нами для дискурса истерика.

Я уже показал вам, что в дискурсе господина *a* можно безошибочно опознать в том, что открыла нам рабочая мысль, мысль Маркса, то есть с тем самым, что представляет собой, символически и реально, функция прибавочной стоимости. Мы оказываемся как бы перед двумя терминами, и поэтому нам остается, пожалуй, оба их немного модифицировать, дать им несколько более свободное истолкование, чтобы перевести их в другие регистры. И тут напрашивается следующее предположение – поскольку нам предстоит охарактеризовать четыре различных позиции, не исключено, что в каждой из четырех возможных перестановок обнаружится, в собственном лоне ее, место первого плана, место, знаменующее собой первый шаг в последовательном раскрытии того самого, что я называю структурой.

С каким бы сомнением вы к этому предположению ни отнеслись, оно так или иначе позволит вам осязательно ощутить нечто такое, что поначалу, скорее всего, не бросается вам в глаза.

Забудьте пока о месте, которое, согласно моему предположению, нас в первую очередь интересует, и попробуйте в каждой из этих, скажем так, дискурсивных конфигураций поставить себе задачей просто-напросто выбрать лю-

бое место из тех четырех, что задаются в терминах *сверху*, *снизу*, *справа* и *слева*. И как бы вы за это ни взялись, вам не удастся добиться того, чтобы хотя бы на одном из этих мест оказалась другая буква.

Попытайтесь затем, исходя из противоположных условий игры, выбрать в каждой из этих формул какую-либо букву. Вы никогда не придете к тому, чтобы буква эта оказалась на другом месте.

Попробуйте сами. Для этого достаточно листа бумаги, если воспользоваться к тому же той сеткой, что именуется матричной. При наличии столь малого числа комбинаций одного рисунка достаточно будет, чтобы немедленно этот вывод с очевидностью проиллюстрировать.

Перед нами здесь определенного рода связь между означающими – связь, которую можно считать основополагающей. Уже этот простейший факт дает нам случай проиллюстрировать то, что представляет собой структура. Ставя задачей формализацию дискурса и согласуя друг с другом внутри этой формализации определенные правила, призванные эту формализацию подвергнуть проверке, мы сталкиваемся с элементом невозможности. Вот что лежит в основе, в корне того, что представляет собой факт структуры.

Это и есть, в структуре, то самое, что занимает нас на уровне аналитического опыта. Причем вовсе не потому, что мы далеко продвинулись, якобы, в его разработке, или хотя бы претендуем на это, а с самых его азов

## 3

Почему приходится нам так усердно заниматься этими манипуляциями с означающим и тем, как оно в данном случае артикулируется? Дело в том, что оно присутствует в данных психоанализа.

Иными словами, оно присутствует в том, что пришло в голову даже Фрейду, уму, который, судя по его основанному на парафизических науках, на познаниях в физиологии, взявшей на вооружение первые результаты новой физики,

в особенности термодинамики, был к такому подходу совершенно не подготовлен.

То, что Фрейд, следуя путеводной нити своего опыта, разрабатывая найденную им жилу, вынужден был сформулировать на втором этапе своего творчества, приобретает в свете этого еще большее значение, ибо на первом этапе, этапе артикуляции бессознательного, ничто, собственно, этого не предвещало.

Бессознательное позволяет обнаружить место желания – вот смысл первого сделанного Фрейдом хода, уже в *Толковании сновидений* не просто подразумеваемого, а подробно разработанного и артикулированного. Для него это уже достигнутый результат, когда на втором этапе, на том, что открывает в его творчестве работа *По ту сторону принципа удовольствия*, он заявляет, что мы обязаны брать в расчет функцию, которая называется как? Повторением.

Что же оно, это повторение, собой представляет? Давайте откроем текст Фрейда и посмотрим, что он на этот счет говорит.

Необходимость повторения обусловлена наслаждением – термин, который мы находим здесь черным по белому. Именно в силу поиска наслаждения на путях повторения и возникает то, в обнаружении чего прорыв Фрейда ко второму этапу, собственно, и состоит – то, что интересует нас в облике повторения и вписывается в диалектику наслаждения, оказывается направленным против жизни. Именно на уровне повторения Фрейд обнаруживает, что сама структура дискурса вынуждает его заговорить об инстинкте смерти.

Для любого, кто понимает отождествление бессознательного и инстинкта буквально, это выглядит гиперболой – невероятной и, по сути, скандальной экстраполяцией. Ведь это значит, что повторение порождается не только циклами, связанными с жизнедеятельностью, с циклами потребности и удовлетворения, но и с чем-то иным, с циклом, несущим в себе исчезновение жизни как таковой и представляющим собой возвращение к неодушевленной природе.

Неодушевленное – вот она, линия горизонта, идеальная точка, точка, на чертеже отсутствующая, но лежащая в

направлении, которое в структурном анализе с точностью указывается. А служит этим указателем происходящее с наслаждением.

Достаточно начать с принципа удовольствия, представляющего собой не что иное, как принцип наименьшего напряжения, того минимального напряжения, которое необходимо сохранять для поддержания жизни. Одно это показывает, что наслаждение выходит из берегов этого принципа, что принцип удовольствия поддерживает не что иное, как предел, положенный наслаждению.

Все факты, опыт и клинические данные согласно указывают на то, что в основе повторения лежит возврат наслаждения. И Фрейд сам в связи с этим правильно указал на то, что в самом повторении этом возникает нечто такое, что представляет собой сбой, дефект, неудачу.

В свое время я уже говорил о том, насколько близко это к сказанному Киркегором. Ведь уже в силу того, что повторяемое откровенно повторяется как таковое, что оно несет на себе печать повторения, оно не может, по отношению к тому, что оно повторяет, не выступать как утрата. Какая угодно, утрата скорости, если хотите, но так или иначе, без утраты тут не обходится. На ней, утрате этой, Фрейд с самого начала, с тех первых формулировок, которые я здесь резюмирую, настаивает – в самом повторении без утечки наслаждения не обходится.

Именно здесь лежат истоки фрейдовских размышлений о функции утраченного объекта. И нет необходимости напоминать о том, что весь текст Фрейда откровенно построен на исследовании мазохизма, понятого им исключительно как поиск этого разрушительного наслаждения.

Перейдем теперь к тому, что привносит сюда Лакан. То, о чем я говорю, относится к этому повторению, к этой идентификации наслаждения. Опираясь на текст Фрейда, я придаю ему смысл, эксплицитно в нем не заявленный, я обращаю внимание на функцию единичной черты, той метки, в ее простейшей форме, от которой означающее, собственно, и берет начало. И я утверждаю здесь – этого нет в тексте Фрейда, но психоаналитику от этого факта уйти, улизнуть, проигнорировать его, не удастся – что именно от единич-

ной черты ведет происхождение все, что нас, аналитиков, интересует в качестве знания.

Ведь деятельность психоаналитика становится, по сути дела, возможной с того поворотного момента, когда знание очищается, так сказать, от всего, что можно спутать со знанием, данным нам от природы, составляющим единое целое с чем-то таким, что, якобы, ведет нас в окружающем мире с помощью своего рода врожденных органов, позволяющих нам в этом мире, якобы, ориентироваться.

Не то, чтобы ничего подобного не было вовсе. Когда в наши дни – я хочу сказать, лет сорок-пятьдесят тому назад – ученый-психолог пишет работу под названием *Ощущение, путеводитель жизни*, ничего абсурдного в этом, разумеется, нет. Но именно оттого и может он так сформулировать свою тему, что вся эволюция науки свидетельствует об очевидном факте – никакой *соприродности* между этим ощущением, с одной стороны, и тем восприятием пресловутого *мира*, которое с ее помощью может возникнуть, с другой, нет и в помине. Если научное изучение, исследование таких чувств, как зрение, или, скажем, слух, что-то нам вообще демонстрируют, то это нечто такое, что мы должны воспринимать как простую данность, с соответствующим коэффициентом искажения. Среди волновых колебаний есть расположенные в ультрафиолетовом диапазоне, который мы не воспринимаем – а, собственно, почему? То же самое, на другом конце спектра, касается инфракрасного излучения. Не иначе дело обстоит и со слухом – есть звуки, которые мы уже не воспринимаем, и не очень понятно, почему порог восприятия лежит именно здесь.

На самом деле, на этом пути ясно становится только одно – что имеются некие фильтры и что с помощью этих фильтров мы из положения и выпутываемся. Функция, внушают нам, создает орган. На самом деле, наоборот – есть орган, которым, как могут, так и пользуются.

Неужели же то, над чем полагала своим долгом задумываться, исследуя механизмы мышления, вся традиционная философия, которая известными вам путями, то есть описывая все то, что происходит на уровне абстракции, обобщения, тщилась обосновать его редукцией и фильтрацией,

подвести под него фундамент данных, относящихся к ощущению, которое рассматривалось как основа – *Nihil fuerit in intellectu, quod, etc* – неужели этот субъект – субъект, выводимый логическим путем в качестве субъекта познания, субъект, конструируемый способом, который теперь представляется нам столь искусственным, на базе механизмов и жизненных органов, без которых действительно непонятно как удалось бы нам обойтись – неужели его, субъект этот, мы имеем в виду, когда говорим об артикуляции означающих, той самой, где азбучные термины, которые мы предлагаем, как раз и могут вступить в игру, те самые элементарные термины, что связывают, как я говорил вам, одно означающее с другим и чей первый эффект заключается уже в том, что означающим этим можно, по определению, пользоваться лишь постольку, поскольку использование это осмысленно, поскольку означающее это репрезентирует для другого означающего субъект, субъект и ничто иное? Между субъектом познания и субъектом означающего ничего общего решительно нет.

Не существует способа уйти от формулы, утверждающей, в своей предельно сокращенной форме, что имеется некое подлежащее. Но слова для того, чтобы это нечто определить, у нас нет. Само нечто тоже не годится, ведь это просто-напросто некое подлежащее, субъект, ὑποκείμενον. Даже в мысли столь нагруженной созерцанием требований, первичных, а вовсе не искусственно выстроенных, предъявляемых идеей познания, даже в мысли Аристотеля, иными словами, само приближение к логике, сам факт, что он включил ее в познавательную цепочку, заставляет философа строго отличать ὑποκείμενον от всякой οὐσία самой по себе, от чего бы то ни было, что является сущностью.

Итак, означающее артикулируется как таковое постольку, поскольку представляет субъекта при другом означающем. Именно из этого мы и исходим, когда пытаемся придать смысл пресловутому повторению, повторению, полагающему начало чему-то новому. Поскольку оно, повторение это, нацелено на наслаждение.

Знание, на определенном уровне, подчиняется в своей артикуляции чисто формальным требованиям, требовани-

ям записи, что привело в наши дни к возникновению определенного типа логики. Так вот, знание это, под которое мы можем теперь подвести фундамент опыта той современной логики, что представляет собой, по сути своей и в первую очередь, систему операций над письмом, этот тип знания и задействуется как раз, когда речь заходит об оценке результатов повторения в аналитической клинике. Другими словами, знание, которое представляется нам наиболее чистым, хотя ясно, конечно же, что никаким очищением эмпирического опыта его получить нельзя, именно это знание и оказывается с самого начала задействованным.

Здесь-то как раз и обнаруживает это знание свои корни, ибо в повторении, а первоначально в форме единичной черты, оно оказывается средством наслаждения – оказывается уже постольку, поскольку выходит за пределы, положенные, в виде принципа удовольствия, обычным жизненным устремлениям.

Следуя этим высказанным Лаканом формальным соображениям, мы обнаруживаем, как только что было сказано, что имеет место утрата, утрата наслаждения. И вот на месте этой вызванной повторением утраты и возникает на наших глазах функция утраченного объекта, того самого, который назвал я объектом *а*. Что мы должны из этого заключить? Да то, что на самом элементарном уровне, на уровне появления единичной черты, работа знания производит, скажем так, энтропию.

Слово это пишется через буквы *э*, *н*, *т*. Напишите его через *а*, *н*, *т*, и получится недурная игра слов.

Ничего удивительного в этом нет. Разве вы не знаете, что энергетика, что бы инженеры, эти современные инженю, на сей счет не думали, это не что иное, как наложение на мир сети означающих?

Вы уверяете, что можете доказать, будто снести вниз на 500 метров на собственном горбу груз весом в 80 килограмм, а затем вновь его на эту же высоту затащить, даст в итоге нулевую работу? Попробуйте-ка взяться за эту работу сами, и вы убедитесь в обратном. Зато стоит вам все это обозначить, то есть встать на путь энергетики, как тут же ясно станет, что работы никакой нет.

Поэтому, когда означающее начинает выступать как инструментарий удовольствия, не стоит удивляться появлению чего-то имеющего отношение к энтропии – ведь определение энтропии и возникло, собственно, именно тогда, когда к физическому исследованию этот инструментарий означающих начали применять.

Не подумайте, что я шучу. Когда вы строите завод, неважно какой, вы, естественно, получаете в результате определенную энергию и даже можете ее накапливать. Так вот, инструментарий, который вы применяете, чтобы запустить турбины, призванные скопить энергию про запас, построен с помощью той же логики, о которой я собираюсь говорить с вами, логики функционирования означающих. В наше время машина не является простым орудием. Турбина не произошла от лопаты. Это доказывается уже тем, что машиной можно по праву назвать рисунок, сделанный на клочке бумаги. Для этого ничего не нужно. Нужны лишь чернила, которые и служат проводником в деле создания очень эффективной машины. А почему бы, собственно, и не быть им проводником, если сама метка, метка как таковая, уже служит проводником сладострастия?

Если аналитический опыт чему-то и учит нас, так это всему тому, что имеет отношение к миру фантазмов. Если создается впечатление, будто до анализа мир этот оставался неисследованным, то дело лишь в том, что неизвестно было, как к нему подступиться. Отсюда и интерес к тем странностям и аномалиям, что, связанные с именами собственными, дали нам термины, позволявшие говорить, что это вот, мол, садизм, а это, наоборот, мазохизм. Говоря об этих *–измах*, мы остаемся на уровне зоологии. Но есть в этом и нечто действительно радикальное – дело в том, что в основе, в корнях своих, фантазм вступает в ассоциативную связь с неким, если так можно выразиться, ореолом – ореолом метки.

Я говорю здесь о той самой метке на коже, от которой получает в этом фантазме дыхание жизни не что иное, как субъект – субъект, идентифицирующий себя как предмет наслаждения. В эротической практике, которую я имею в виду – для самых глухих, если тут таковые найдутся, по-

ясняю, что речь идет о самобичевании – акт наслаждения явственно обнаруживает ту двусмысленность, в силу которой именно на этом уровне, и ни на каком другом, осязаемо дает себя знать равнозначность наносящего метку жеста, с одной стороны, и тела, объекта наслаждения, с другой.

Наслаждения чьего именно? Действительно ли перед нами то наслаждение, что несет на себе упомянутый мною ореол метки? Где уверенность, что перед нами желание Другого? Перед нами, несомненно, один из путей, которыми Другой входит в собственный мир, и путь это, бесспорно, ему не заказан. Но сродство метки с наслаждением самого тела как раз и указывает на то, что лишь наслаждение, и только оно, вносит то разделение, что характерно, в отличие от отношения к объекту, для нарциссизма.

Ни малейшей двусмысленности в этом нет. Не случайно в работе *По ту сторону принципа удовольствия* Фрейд настаивает на том, что постоянство, устойчивость зеркального образа механизма Я, обусловлены тем, что он является лишь оболочкой поддерживающего его изнутри утраченного объекта – того самого, что вводит в измерение человеческого бытия наслаждение.

Ведь на наслаждение наложен запрет, то ясно, что лишь случай, неожиданность, происшествие способны привести его в действие. Живое существо, чье существование течет в обычном для него русле, спокойно довольствуется удовольствием. Если наслаждение выходит-таки на поверхность, если оно узаконивает себя, получив санкцию единичной черты и повторения, закрепляющих ее в дальнейшем в качестве метки, если это происходит, то начинается это с легкого отклонения наслаждения от своего направления, и никак не иначе. Отклонения эти никогда не будут, в конечном счете, слишком большими, даже в практиках, о которых я только что упоминал.

Речь не идет о трансгрессии, о вторжении в поле, охраняемое действием механизмов регулирования жизнедеятельности. На самом деле, наслаждение получает определенное место, заявляет о себе, в эффекте энтропии, в утрате. Вот почему, заговорив о нем, я использовал поначалу выражение *Mehrlust*, избыто(чно)е наслаждение. Обнаруженное

в измерении утраты – отрицательное число всегда требует, так сказать, компенсации – это неизвестно *что*, заявив, словно ударом в колокол, о своем приходе, обернулось наслаждением, и наслаждением, которое подлежит повторению. Только в измерении энтропии, и в нем одном, находит воплощение тот факт, что имеется избыто(чно)е наслаждение и что наслаждение это надлежит каким-то образом получить.

Это и есть измерение, в котором необходим становится труд, трудовое знание, то знание, что обусловлено, знает оно то или нет, в первую очередь единичной чертой, а вслед за ней и всем тем, что означающее позволит артикулировать. Именно здесь и берет свое начало то измерение наслаждения, у говорящего существа столь двусмысленное, которое способно с тем же успехом подвести теоретическую базу под апатию, сделать апатию жизненным кредо, а апатия – это гедонизм. Но хотя кредо из этого сделать легко, каждый знает, что даже как члена массы – недаром одна из работ Фрейда этого периода носит название *Massenpsychologie* – одушевляет его, формирует его, дает ему знание иного порядка, нежели то, что связывает и приводит в гармонию *Umwelt* и *Innenwelt*, не что иное, как функция избыто(чно)го наслаждения как такового.

Это и есть та полость, то зияние, заполнить которое и призваны, без сомнения, поначалу объекты, которые как бы заранее для этого приспособлены, специально созданы, чтобы послужить затычкой. На этом и останавливается классическая психоаналитическая практика, прибегая к терминам *оральное*, *анальное*, *скопическое* и *голосовое*. Все это и есть различные имена, с помощью которых мы можем указать на *a* как на некий объект, хотя на самом деле *a* представляет собою, собственно говоря, следствие из того, что знание, в основе своей, сводится к означающей артикуляции.

Знание это является средством наслаждения. И когда оно работает, продукцией его, повторяю, является энтропия. Энтропия эта, этот пункт, где происходит утрата, и является как раз единственной точкой, единственным местом, где предоставлен нам регулярный доступ к тому, что имеет отношение к наслаждению. Тем самым преобразуется, замы-

кается на себя и мотивируется все то, как влияет означающее на судьбу говорящего существа.

К речи это имеет самое малое отношение. Это имеет отношение к структуре, – структуре, выстраивающейся как отлаженный аппарат. Человеческому существу, гуманоиду, названному так, ясное дело, лишь потому, что он является всего-навсего гумусом языка, остается лишь к аппарату этому свою речь подладить.

С помощью всего-навсего четырех буковок мне только что удалось продемонстрировать вам, что достаточно приписать к единичной черте, $S_1$, другую черту, $S_2$, чтобы быть в состоянии, исходя из этих, тоже полноправных, означающих, определиться в отношении, с одной стороны, ее смысла и, с другой стороны, внедрения ее в наслаждение – того, благодаря чему она становится орудием наслаждения.

Это и служит работе отправной точкой. С помощью знания как орудия наслаждения производится работа, которая имеет некий, темный, смысл. Он, этот темный смысл, и является смыслом истины.

## 4

Не доведись мне уже рассматривать эти термины в самом различном свете, я не решился бы, разумеется, их здесь ввести. Но позади проделанная работа, и работа немалая.

Когда я говорю вам, что знание первоначально имеет место в дискурсе господина на уровне раба, кто вспоминается, как не Гегель, показавший нам, что именно труд раба выдает нам истину господина. Истину, которая его, конечно же, ниспровергает. На самом деле, мы можем, пожалуй, дать схеме этого дискурса иные формы и обнаружить место, где в гегелевской конструкции зияет прореха, где замкнутость ее оказывается насильственной.

Если существует что-то, что наш подход очерчивает и что аналитический опыт, безусловно, заново подтвердил, так это тот факт, что нельзя говорить об истине, не давая тут же понять при этом, что подойти к ней можно лишь че-

рез недосказанность, что она никогда не выговаривается до конца по той причине, что кроме полуправды этой сказать нечего. Все, что может быть высказано, уже здесь. И тут, следовательно, дискурс упраздняет себя. О несказанном говорить нечего, какое бы удовольствие это занятие кое-кому, похоже, ни доставляло.

И тем не менее его, этот узел недосказанности, я все же давеча проиллюстрировал, показав вам, каким образом следует выделить в нем то, что имеет, собственно, отношение к интерпретации – то, что я сформулировал, говоря об акте высказывания, лишенного содержания, и о содержании высказывания, отвлеченном от его акта. Я показал, что именно здесь находятся те присущие интерпретации осевые точки, точки равновесия и приложения сил, опираясь на которые, мы сможем радикальным образом обновить наше представление об истине.

Что такое любовь к истине? Это что-то такое, что насмехается над ее, истины, неудачей быть. Эту неудачу быть можно назвать и иначе – нехваткой забвения, напоминающей о себе в образованиях бессознательного. Здесь не идет речь о том, чтобы быть, быть в смысле какой бы то ни было полноты. Что представляет собой неразрушимое желание, о котором говорит Фрейд в заключительных строках *Толкования сновидений*? Что это за желание, которое ничто не способно изменить и поколебать, даже когда меняется все вокруг? Нехватка забвения и есть то же самое, что неудача быть, так как *быть* как раз и означает *забыть*. Любовь к истине, это любовь к той слабости, над которой мы с вами приподняли завесу, это любовь к тому, что истина скрывает и что зовется кастрацией.

Жаль, что мне приходится делать эти напоминания, по сути дела, столь отвлеченно-книжные. Мне кажется, однако, что с аналитиками, с ними в особенности, часто бывает так, что за несколькими табуированными словами, которыми они без стеснения свою речь уснащают, незамеченным остается то, что истина – это бессилие.

Все, что касается истины, строится именно на этом. В том, что существует любовь к слабости, заключена, без сомнения, суть любви. Любить, как я уже говорил, значит давать

то, чего не имеешь, то есть то, что могло бы возместить собой эту изначальную слабость.

Одновременно проясняется, приоткрывается и та роль – мистическая, или мистифицирующая, не знаю – которую люди определенного настроя всегда предоставляли любви. Так называемая всеобъемлющая любовь, эта тряпка, которой размахивают у нас перед носом, чтобы нас успокоить, для нас лишь завеса, покрывало, наброшенное на истину.

То, что от психоаналитика требуют и о чем я на прошлом занятии уже говорил, не имеет, конечно же, ничего общего с тем, что можно услышать от пресловутого якобы знающего субъекта и на чем, понимая меня, как обычно, несколько вкось, иные считали возможным выстроить перенос. Я все время настаивал на том, что предполагаемого знания у нас за душой не так много. Анализ создает ситуацию, в которой дело обстоит ровно наоборот. Что говорит аналитик пациенту, приступающему к анализу? – *Давайте, говорите, что хотите, все будет отлично.* Именно его, пациента, утверждает аналитик в роли субъекта, якобы знающего.

При этом он, вообще говоря, не кривит душой, поскольку больше аналитику положиться не на кого. В основе переноса лежит то, что находится тип, который велит мне, бедняге, вести себя так, словно я сам знал прекрасно, в чем дело. Мне позволяется говорить все, что угодно, это всегда что-то даст. Такое бывает не каждый день. Здесь есть, от чего произойти переносу.

Что определяет собой аналитика? Я это уже говорил. Я говорил об этом всегда – просто никто ничего так и не понял, что и естественно, и в этом моей вины нет. Анализ – вот чего ждут от психоаналитика. Но надо еще понять, что именно за пресловутым *то, чего ждут от психоаналитика* кроется.

Ответ прост, он у нас перед носом – у меня всегда такое чувство, будто я только и делаю, что повторяюсь – что ж, тружусь я, а прибавочное наслаждение достается вам. От психоаналитика ожидают, как я вам в последний раз уже говорил, чтобы знание его функционировало в качестве истины. Именно поэтому и не покидает он пределов недосказанности.

Я в прошлый раз это уже говорил, и впредь мне придется вернуться к этому вновь, так как для последующего это важно.

Аналитику, и только нему, адресована знаменитая формула, которую я не раз комментировал, формула *Wo es war, soll Ich werden*. Если аналитик пытается занять ту позицию вверху слева, которая задает собой его дискурс, то именно потому, что находится он там ни в коем случае не ради себя. Туда, где было избыто(чно)е наслаждение, наслаждение другого, я, я сам, поскольку я осуществляю аналитический акт, должен прийти.

*14 января 1970 года.*

# IV
# ИСТИНА, СЕСТРА НАСЛАЖДЕНИЯ

*Логика и истина.*
*Психоз Витгенштейна.*
*Политцер и Университет.*
*Юмор Сада.*

| У | И | Г |
|---|---|---|
| $\frac{S_2}{S_1} \rightarrow \frac{a}{\$}$ | $\frac{\$}{a} \rightarrow \frac{S_1}{S_2}$ | $\frac{S_1}{\$} \rightarrow \frac{S_2}{a}$ |

Аналитический дискурс замыкает, на уровне структуры, которую мы пытаемся в этом году артикулировать, цикл трех остальных, названных мной, соответственно – напоминаю это для тех, кто ходит на мои занятия от раза к разу – дискурсом господина, дискурсом истерика, который сейчас на доске фигурирует у меня в центре, и, наконец, дискурсом, который интересует нас здесь в высшей степени, поскольку речь идет о дискурсе, получившим определение университетского.

Тот факт, что аналитический дискурс замыкает череду четвертных поворотов, путем которых мы получаем три предыдущих, не означает, однако, что они разрешаются в нем, что он позволяет перейти к их изнанке. Ничего ровным счетом это не разрешает.

Изнанка лицу никакого объяснения не дает. Речь идет об изнанке и лице канвы, текста – ткани, если хотите. Ткань эта, тем не менее, рельефна, на поверхности ее что-то задерживается. Не все, разумеется. Так, слову этому, представляющему собой языковую фикцию, язык как раз и поставляет пределы, показывая, что, по моему выражению, ничто не является *всем* – или, лучше сказать, что *все* как таковое опровергает себя, утверждаясь на том, что должно быть в своем употреблении ограничено.

Сказанного довольно, чтобы дать понять то, что станет сегодня главным предметом нашего разговора, призванно-

го показать, что, собственно, представляет собою изнанка. По-французски изнанка, *envers*, созвучна истине, *verité*.

## 1

На самом деле, с самого начала стоит обратить внимание вот на что – слово *истина* не принадлежит к тем, которые имеют смысл вне пропозициональной логики, где она представляет собой величину, сводимую к записи, к символической манипуляции, где она выступает в виде заглавной буквы *V*, ее латинского инициала. Это способ ей пользоваться не несет в себе, как мы увидим, ни малейшей надежды. Именно это и делает его столь целительным.

В других областях, однако, и, в частности, среди аналитиков – у меня есть веские причины добавить: аналитиков женского пола – слово это вызывает странное возбуждение, толкающее их, с некоторых пор, на смешение аналитической истины с революцией.

Я уже говорил о двусмысленности термина *революция*, который в небесной механике может означать возвращение к исходной точке. Так что, с определенной точки зрения, то, что аналитический дискурс, как я с самого начала сказал, может по отношению к трем прочим режимам осуществить, заложено в трех соответствующих структурах.

Что касается женщин, то они не случайно в меньшей степени заключены в этот цикл дискурсов, чем их партнеры. Мужчина, самец, представляет собой, со всей мужественностью, которую мы за ним знаем, продукт дискурса – все то, что поддается в нем анализу, предстает, во всяком случае, именно так. О женщине этого сказать нельзя. Никакой диалог невозможен, однако, иначе, как на уровне дискурса.

Вот почему, прежде чем ощутить дрожь возбуждения, женщине, для которой анализ служит источником революционного одушевления, следовало бы вспомнить о том, что она могла бы, в сравнении с мужчиной, гораздо большую пользу почерпнуть от того, что мы назвали бы своего рода культурой дискурса.

Не то чтобы у нее не было к дискурсу природного дарования – совсем напротив. Одушевляясь им, она становится по этому циклу лучшей путеводительницей. Это как раз и определяет собой истерика, и вот почему сейчас на доске, нарушив свой обычный порядок, я поместил его в центр.

Ясно, что не случайно вызывает у нее слово *истина* эту дрожь возбуждения.

Другое дело, что истина, даже в нашем контексте, не так-то легко доступна. Подобно некоторым птицам, о которых мне в детстве рассказывали, ее нельзя поймать, не насыпав ей на хвост соли.

Дело это нелегкое. Моя первая детская книжка начиналась с истории под названием *История цыпленка табака.* Она действительно была именно об этом. Поймать эту птицу ничуть не проще других, если сделать это можно лишь насыпав соли на хвост.

То, чему я, с тех пор, как мне кое-что удалось в отношении психоанализа сформулировать, учу, могло бы носить название *История субъекта табака.*

В чем истина сходства между историей половины цыпленка и историей половины субъекта? Можно взглянуть на это под двумя разными углами. Можно сказать, что первая прочтенная мною история предопределила развитие моей мысли, как и представила бы это дело ученая диссертация. С другой стороны, если посмотреть на дело с точки зрения структуры, история половинки цыпленка могла быть для ее автора чем-то таким, в чем нашло свое отражение некое предчувствие – предчувствие если не «сиканализа», как выражаются в *Парижском поселянине*, то того, как обстоит дело с субъектом.

В книге наверняка было еще кое-что – были картинки. Половинка курицы изображена была с внешней, лицевой стороны. Зато не было видно другой стороны, стороны разреза, где она, истина, вероятно, и находилась, так как нарисована была на правой странице та половинка, где сердца не было, но зато, разумеется, была печень, *foie*, созвучная по-французски вере, *foi*. Что это значит? Что истина скрыта, но что она, может быть, всего лишь отсутствует.

Будь это так, все бы прекрасно устроилось. Оставалось

бы лишь хорошо знать все то, что знать можно. В конце концов, почему бы и нет? Когда мы что-то говорим, нам нет нужды добавлять, что это истинно так.

Вокруг этого и вращается вся проблематика суждения. Вам прекрасно известно, что Фреге записывает вопрос в форме горизонтальной черты, а когда утверждается истинность положения, добавляет на левом ее конце черту вертикальную. Высказывание становится в этом случае утверждением.

Но что, однако, является истинным? Господи, конечно, то, что высказалось. А что высказалось? Фраза. Но фраза, ей нельзя найти иного носителя, кроме как означающее, причем постольку, поскольку объекта оно не касается. Если, конечно, подобно одному логику, о крайней позиции которого мы с вами чуть позже поговорим, вы не станете утверждать, что любой объект это всего лишь псевдо-объект. Что касается нас, то мы держимся того мнения, что означающее соотносится не с объектом, а со смыслом.

Субъектом фразы, ее подлежащим является исключительно смысл. Откуда и диалектика, из которой мы с вами исходим – диалектика, которую назвали мы диалектикой смыслового (у)хода.

Начинается все это с бессмыслицы, придуманной Гуссерлем – *зеленое это за*. Бессмыслица эта вполне может иметь смысл, если речь идет, например, о голосовании при помощи зеленых и красных шаров.

Дело, однако, в том, что на путь, где то, как обстоит дело с бытием, зависит от смысла, наставляет нас то, что имеет в себе более всего бытия. Именно на этом пути, во всяком случае, совершен был смысловой (у)ход, позволивший думать, будто то, что имеет более всего бытия, не может не существовать.

Смыслу, если можно так выразиться, заповедано быть. Более того, у него нет, собственно, иного смысла. С некоторого времени стало ясно, однако, что этого недостаточно, чтобы приобрести нужный вес, вес существования.

Занятно при этом, что вес приобретает, напротив, бессмыслица. Это задевает за живое. Именно этот шаг и сделал Фрейд, указав на пример остроты – слова, которое невозможно взять в толк.

Но насыпать ему на хвост соли от этого ничуть не легче.

Истина, она все равно улетучивается. Улетучивается в тот самый момент, когда утрачивают желание ее поймать.

Впрочем, поскольку хвоста у нее все равно не было, как возможно этот ослепительный миг уловить?

Как вы помните, довольно одной – довольно плоской, впрочем – истории обмена репликами о золотом тельце, чтобы его, который не мычит и не телится, разбудить. И тогда воочию видно, что золото его того же свойства, с которым имеет дело, скорее, золотарь.

Здесь поджидает нас *упрямое желание длиться* Элюара и желание спать, представляющее собой, хотя, похоже, об этом и не догадываются, самую большую загадку из тех, что Фрейд нам в *Толковании сновидений* задал. Помните – *Wunsch zu schlafen*, говорит Фрейд; он не говорит *schlafen Bedürfnis*, потребность спать, не об этом у него идет речь. *Wunsch zu schlafen*, желание спать – вот чем определяется работа сновидения.

Указав на это желание, Фрейд делает любопытное замечание, что сновидение вызывает пробуждение как раз тогда, когда оно вот-вот готово выдать, наконец, истину, так что пробуждается человек лишь для того, чтобы благополучно спать дальше – спать в Реальном, или, говоря точнее, в реальности.

Все это просто-напросто поражает. Поражает своего рода нехваткой смысла, где истина, как и естественное, проносится галопом. Галопом настолько стремительным, что едва в наше поле ворвавшись, она уже покидает его с другой стороны.

Слово *отсутствие*, *absence*, о котором я только что говорил, привело к забавной контаминации. Обратившись к *sans*, которое происходит, как считается, от латинского *sine*, что маловероятно, поскольку первоначально оно писалось как *senz*, мы обнаружим, что слово *absentia*, в аблативе, использовавшееся в юридических текстах, от которого и происходит куцее слово *sans*, *без*, – что оно, словечко это, уже произнесено было нами с самого начала нашего сегодняшнего разговора.

Так что же? *Senz*, потом (puis) без (sans) – не о могуществе ли (puissance) идет речь? – Не о потенции, этой вооб-

ражаемой виртуальности, чье могущество от лукавого, а, скорее, о толике бытия внутри смысла (sens) – смысла не в качестве полноты смысла, а в качестве, скорее, того, что, как в словечках, нареченных по справедливости остроумными, бытует безотчетно.

Так происходит это, мы знаем, и во всяком поступке. В поступке, каков бы он ни был, важно то, что в нем безотчетно. Анализ усваивает себе эту истину, вводя понятие оплошности – единственного, в конечном счете, поступка, о котором мы твердо можем сказать, что он всегда оказывается удачен.

Вокруг этого разворачивается целая построенная на литоте игра, значение и смысловые акценты которой я попробовал показать на примере того, что назвал в свое время *не без*. Тревога – она *не без* объекта. Мы существуем *небез*относительно к истине.

Но так ли уж верно, что найти ее мы должны непременно *intus*, внутри. Почему бы и не на стороне? *Heimlich*, *unheimlich* – каждый из вас, читая Фрейда, имел возможность усвоить то, что кроется за двусмысленностью этого термина – термина, который, не имея в виду чего-то внутреннего и в то же время косвенно на него намекая, как раз и подчеркивает тем самым странность того, о чем идет речь.

В этом отношении языки странным образом разнятся. Знаете ли вы, что *homeliness* значит, по-английски, *бесцеремонность*? А между тем это то же самое слово, что немецкое *Heimlichkeit* – только акценты расставлены в них совершенно по-разному.

Так и немецкое *sinnlos* переводится по-английски как *meaningless*, то есть словом, синонимичным французскому *nonsensé*, которым пользуемся мы при для перевода немецкого *Unsinn*.

Общеизвестно, что двусмысленность английских корней дает повод к поразительным смысловым разветвлениям. Так, наше *без* будет по-английски *without*, что означает вместе, будучи снаружи.

Истина действительно, похоже, чужда нам – я имею в виду истину нашу собственную. Она с нами, конечно, но *без* того, чтобы затрагивать нас так уж сильно.

Все, что можно сказать, это то, что я только что уже сказал – что мы *не без* нее. Литота, подразумевающая в конечном счете, что мы, будучи с нею рядом, без нее прекрасно бы обошлись.

Так и переходим мы от *без* к *не без*, чтобы оставить, наконец, *без* позади

## 2

Мне хочется здесь несколько отступить от темы и обратиться к автору, который, постулировав, что любая истина имеет форму суждения, и артикулировав то, что в знании как таковом, т. е. выстроенном на базе суждения, может выступать в строгом смысле слова как истина – то, что можно в качестве истины утверждать и отстаивать, – сделал из этого наиболее последовательные выводы.

Речь идет об авторе по имени Витгенштейн, и читается он, надо сказать, очень легко. За это я вам ручаюсь. Попробуйте сами.

Для чтения этого вам понадобится умение погрузиться в стихию чистого мышления, не ожидая при этом, по вашей дурной привычке, будто оно принесет вам какой-то плод. Вам очень хочется яблок, даже если приходится подбирать их с земли. Что вам обидно, так это не собрать урожая.

Показательно, однако, что единственная польза, которую вам из времени, проведенного в сени этой яблони, чьи ветви, я уверяю, могут оказаться для вас, при всей бесполезности их, весьма привлекательными, вам удастся извлечь, состоит в выводе, что истинным может быть только соответствие структуре – структуре, которую я, выйдя на минуточку из-под нашей яблони, назвал бы даже не логической, а, как сам автор, собственно, и говорит, грамматической.

Грамматическая структура образует для нашего автора то, что идентифицирует с миром. Грамматическая структура – вот что такое мир. И нет, собственно, ничего истинного, кроме сложного суждения – суждения, включающего всю полноту фактов, которые образуют собою мир.

Если мы введем в совокупность элемент отрицания, который позволит ее артикулировать, то получим путем подобного выбора целую совокупность правил – правил, которые образуют собою логику. Но совокупность, говорит автор, тавтологична. Другими словами, дело обстоит просто – все, что бы вы ни сказали, является истинным или ложным. Сказав, что это или истинно, или ложно, вы скажете чистую правду, но это, с другой стороны, упразднит смысл.

Все, что я вам сказал – заключает он в пунктах 6.51, 2, 3, 4 (все суждения в этой книге пронумерованы) – все положения, которые я только что выдвинул, представляют собой, собственно говоря, *Unsinn*, – иными словами, они упраздняют смысл.

Нельзя высказать ничего, что не являлось бы тавтологией. Важно, чтобы читатель, пройдя череду утверждений, каждое из которых, уверяю вас, исключительно занимательно, возвысился над всем, что было высказано, придя к заключению, что ничего другого сказать просто нельзя, а то, что сказать можно, лишено смысла.

Я подытожил для вас *Tractatus logico-philosophicus* Витгенштейна, но сделал это, наверное, слишком бегло. Добавлю лишь, что ничего нельзя высказать, ничто не является истинным, если не исходить из идеи Витгенштейна, из его предложения считать факт атрибутом наивного суждения.

Наивным я назову суждение, которое в других случаях ставят в кавычки, как делает, например, Куайн, когда нужно провести различение между актом высказывания и его содержанием. Последнее представляет собой операцию, которую я, хотя именно на ее основе мой граф желания был в свое время выстроен, готов без колебания объявить произвольной. Недаром Витгенштейн с полным основанием говорит, что утверждение как таковое, утверждение в чистом виде, ни в каком знаке, который его бы дополнительно подтверждал, не нуждается. Утверждение само подает себя в качестве истины.

Но каким образом избежать тогда выводов, к которым пришел Витгенштейн? Есть лишь один способ – следовать за ним туда, к чему ведет логика его рассуждений, к тому элементарному суждению, чье обозначение в качестве ис-

тинного или ложного и есть то самое, что призвано, в любом случае, истинно это суждение или ложно, гарантировать истинность суждения сложного.

Как бы ни обстояло дело с фактами мира, скажу больше, какие бы высказывания мы о них ни делали, тавтологичность дискурса в целом – вот что образует собою мир.

Возьмем суждение самое примитивное – примитивное с грамматической точки зрения. Недаром уже стоики пользовались им, чтобы выстроить на его основе простейшую форму импликации. Я не буду заходить столь далеко, я воспользуюсь лишь первым членом, поскольку импликация, как вы знаете, представляет собой отношение между двумя суждениями. *Светает.* Перед нами минимум – безличное предложение.

Итак, мир состоит для Витгенштейна из фактов. Нет ничего, что не ложилось бы на канву фактов. Ничего, кроме того, что в принципе недоступно. Артикуляции поддается исключительно факт. Тот факт, что светает, является фактом лишь постольку, поскольку это сказано.

Истинное зависит – именно здесь приходится мне вновь ввести измерение, которое я временно от него отделил – исключительно от моего акта высказывания, то есть от того, насколько акт этот оказывается уместен. Истинное не является внутренним свойством суждения, в котором заявляет о себе лишь факт, языковая фикция.

Это воистину факт, факт, складывающийся из того, что я говорю нечто такое, что в данном случае истинно. Но то, что оно истинно, уже не является фактом, покуда о том, что оно истинно, я не заявляю особо. Беда лишь в том, что особое заявление это будет, как совершенно справедливо Витгенштейн замечает, избыточно.

Должен заметить, однако, что если вместо этого избыточного суждения я что-то должен сказать, так это то, что на него у меня должно быть причина, причина, которая впоследствии станет ясна.

Но я не говорю пока, что у меня есть причина, я продолжаю свое рассуждение и включаю наше *светает*, пусть и как ложь – даже если это истина – в высказывание, которым я, положим, побуждаю кого-то воспользоваться преслову-

тым рассветом и воочию убедиться, что он в отношении моих намерений не ошибается.

Что действительно глупо, если можно так выразиться, так это попытка *светает*, эту чистую фикцию, изолировать. Причем глупость эта чрезвычайно плодотворна, так как, на нее опираясь, можно дойти до крайних выводов из того, на что я опираюсь сам, то есть из того, что метаязыка нет.

Метаязыка нет, а есть разного рода языковые плутни – именно так назовем мы все любопытные операции, проистекающие из того, что желание человека – это желание Другого. Любое канальство происходит из желания быть Другим – я имею в виду большого Другого – для другого субъекта; тем местом, где вырисовываются фигуры, в которых желание субъекта окажется пленено.

Так что пресловутая витгенштейновская операция представляет собой не что иное, как обличение философского мошенничества, его яркую демонстрацию.

Нет смысла, помимо смысла желания. Вот вывод, который можно сделать, прочитав Витгенштейна. Нет истины, кроме истины того, что скрывает желание под личиной нехватки, чтобы отвернуться с презрением от того, что оно находит.

Ни в каком ином свете не предстает более очевидным то самое, что следует из положений, которые издавна формулировали логики, ослепляя нас видимой парадоксальностью того, что получило название материальной импликации.

Вы знаете, что это такое. Это просто импликация как таковая. Материальной ее назвали только недавно, когда, протерев вдруг глаза, увидели наконец, насколько то, что содержится в импликации, удивительно – я имею в виду импликацию, описанную известным стоиком. Известно, что допустимыми являются три следующих формы импликации: из ложного следует ложное, из истинного следует истинное, но что из ложного следует истинное, тоже исключить нельзя, поскольку речь идет о том, что следует, и если то, что следует, истинно, то истинно и суждение в целом.

Из этого, однако, можно сделать кое-какие выводы. Почему бы, отступив немного от обычного смысла слова *импликация*, не обратить внимание на то бросающееся в

глаза обстоятельство – еще в средние века, в виде формулы *ex falso sequitur quodlibet*, прекрасно известное – что если ложное предполагает порою истинное, то истинное, следовательно, может проистекать из чего угодно.

Зато если, наоборот, мы откажемся признавать, что из истинного следует ложное, что из него можно сделать ложные выводы – ведь именно это мы отказываемся признавать, поскольку иначе рушится все здание пропозициональной логики – то нам приходится с удивлением констатировать, что истинное обладает генеалогией, что оно всегда восходит к какой-то первичной истине, из лона которой выпасть уже не может.

Представление это столь странно и всей нашей жизни, то есть жизни в качестве субъектов, настолько противоречит, что одного его достаточно было бы, чтобы усомниться в том, что истина может быть каким то образом изолирована в качестве атрибута, атрибута чего бы то ни было, что могло бы артикулироваться как знание.

Что касается аналитической операции, то она вторгается в это поле иным способом, нежели тот, что нашел свое воплощение в дискурсе Витгенштейна – дискурсе такой психотической беспощадности, что известная бритва Оккама, запрещающая пользоваться какими бы то ни было логическими понятиями, кроме необходимых, не идет с ней ни в какое сравнение.

## 3

Итак, истина – мы начинаем с начала – неотделима, разумеется, от эффектов языка взятых как таковых.

Истина может иметь место лишь в области, где что-то высказывается – высказывается, как может. Истинно, таким образом, что не бывает – по крайней мере, в принципе – истинного без ложного. Это истинно.

А то, что нет ложного без истинного – это, наоборот, ложно.

Я хочу сказать, что истина находится вне всякого сужде-

ния. Сказать, что истина неотделима от эффектов языка как таковых, значит включить в нее бессознательное.

С другой стороны, упомянутое в прошлый раз положение, что бессознательное является условием языка, обнаруживает здесь свою подоплеку – оно отвечает желанию, чтобы язык обеспечивался неким абсолютным смыслом.

Один из авторов рассуждения под заглавием *О бессознательном* с подзаголовком *психоаналитическое исследование* в свое время выразил это в виде формулы, расположив S одновременно по обе стороны горизонтальной черты и дав этой черте, к тому же, весьма произвольное, по отношению к моему, толкование. Означающее, обозначенное таким образом и наделенное абсолютным смыслом, нетрудно узнать, так как соответствовать этому месту может одно-единственное – речь идет об означающем *Я*.

*Я* как трансцендентальное и в то же самое время как иллюзорное. Это и есть операция, в которой прочно укоренено то, что выступает у меня как артикуляция университетского дискурса – и находим мы ее здесь, как видите, не случайно.

Трансцендентальное *Я* – это *Я*, которое тот, кто высказал тем или образом некоторое знание, укрывает в качестве истины, $S_1$ – *Я* господина.

Я, тождественное самому себе, как раз и дает начало означающему $S_1$ чистого императива.

Императив и есть то самое, в чем находит развитие *Я* – не случайно он всегда формулируется во втором лице.

Миф идеального *Я*; *Я*, играющего роль господина; *Я*, благодаря которому хотя бы что-то одно – агент высказывания – тождественно себе самому, как раз и есть то самое, что университетский дискурс не может из того места, где находится его истина, исключить. Всякое университетское высказывание, формулирующее какую бы то ни было философию – пусть даже ту, что можно было бы охарактеризовать как радикально университетскому дискурсу противоположную, каковой являлся бы, будь он философией, дискурс Лакана, – всякое такое высказывание неизбежно приводит к возникновению *Эгократии*.

Никакая философия к этой последней, конечно же, не-

сводима. Для философов вопрос всегда стоял в куда более тонкой и облеченной пафосом форме. Вспомните-ка, о чем у них идет речь. Все они это признают в большей или меньшей степени, а иные из них, наиболее трезвые, сознаются в этом открыто – они хотят спасти истину.

Это завело одного из них, ей-богу, весьма далеко – он дошел, подобно Витгенштейну, до того вывода, что если мы сделали истину правилом и основанием знания, то для того, чтобы отказаться от курса на этот риф, избежать его, ничего – во всяком случае, ничего, что истины как таковой касалось бы – говорить нет нужды. С позицией аналитика автора, безусловно, сближает то, что себя он полностью из своего дискурса исключает.

Я только что говорил о психозе. Мы имеем здесь, по сути, дело со случаем, где самая что ни на есть здравая речь настолько совпадает с чем-то таким, в чем угадывается психоз, что диагноз можно поставить с ходу. Замечательно, что в такой университетской системе, как английская, этому человеку нашлось место. Место, прямо скажем, совершено особое, своего рода изоляция, к чему, впрочем, приложил он руку и сам, оставив себе возможность удаляться время от времени в маленький загородный домик, чтобы, возвращаясь оттуда, вновь и вновь продолжать дискурс, железная логика которого даже Рассела с его *Principia mathematica* оставила, пожалуй, далеко позади.

Этот человек спасать истину не собирался. Недаром он говорил, что сказать о ней ничего нельзя – что не слишком похоже на правду, поскольку дело с ней мы имеем как-никак каждый день. Но как в письме, которое я многократно цитировал, определяет психотическую позицию Фрейд? – Исходя из того, что он называет, как это ни странно, *unglauben – знать не желать о происходящем в том закоулке, где дело идет об истине*.

В представителях университетского знания это возбуждает такие страсти, что стимулированная психоаналитическим подходом речь Политцера под заглавием *Основы конкретной психологии* может, думается, послужить разительным тому примером.

Все в этой работе свидетельствует о старании автора

выйти из университетского дискурса, плоть от плоти которого он является. И он прекрасно чувствует, что есть лесенка, по которой из него можно выбраться.

Вам следует прочесть эту маленькую книжонку, которая была переиздана в карманном формате, хотя автор, судя по всему, этого издания не одобрил бы – известно ведь, как тяжело он переживал лавры, под которыми оказалось погребено то, что было, по сути дела, криком отчаяния.

За беспощадными страницами, посвященными им психологии, в особенности университетской, следует, как ни странно, тот самый методический ход, который в каком-то смысле мог бы быть им предпослан. Понять, в каком направлении брезжит для него надежда из-под этой психологии выпростаться, помогло ему то, что он сделал вещь, до которой в его время никто не додумался, – он обратил внимание на то, что суть фрейдовского метода в подходе к исследованию образований бессознательного состоит в доверии к рассказу. Решающее значение придается фактору языка – тот факт, из которого все остальное и должно было бы на деле следовать.

В то время – это коротенькое историческое отступление – и речи не было о том, чтобы кто-то, пусть даже из выпускников Нормальной школы, имел хоть какое-то представление о лингвистике, и странно поэтому, что он применил именно этот подход, что именно здесь нашел он возможности, открывавшие тому, что называет он, как ни странно, конкретной психологией, какие-то перспективы.

Эту небольшую книжку надо прочесть, и, будь она у меня с собой, я сделал бы это вместе с вами. Однажды я, может быть, и *поговорю* о ней с вами, но мне и так слишком многое надо успеть вам сказать, чтобы задерживаться сейчас на том, в чем каждый из вас может, на примере этой странной работы, убедиться самостоятельно, – на том, что любые попытки выйти из университетского дискурса неизменно оборачиваются возвращением к нему. Процесс этот просматривается шаг за шагом.

Что выдвигает автор в качестве возражения против описаний – точнее, против терминологии описания – психических механизмов, которые Фрейд по ходу развития своей

теории предлагает? А то, что, воздвигая вокруг допускающих индивидуальное рассмотрение фактов леса формальной абстракции, Фрейд упускает из виду то, что из всего требуемого психологического материала является самым главным – то, что при описании любого психического факта, каков бы он ни был, необходимо сохранить то, что он называет действием *Я*, или, еще лучше, его, этого *Я*, непрерывностью. Именно так у него и написано – непрерывность *Я*.

Термин этот и явился, конечно, тем самым, что позволило докладчику, о котором я только что говорил, блеснуть за счет Политцера, на которого он, походя, ради исторической справки, ссылается, чтобы пустить своей тогдашней аудитории пыль в глаза. Университетский ученый, который к тому же показал себя настоящим героем – отличный повод вытащить его на свет Божий. Иметь такого про запас никогда не лишне, но что в этом толку, если доказать несводимость университетского дискурса к анализу все равно с его помощью не удается. Между тем, книга эта свидетельствует о труднейшей борьбе, так как Политцер не может не чувствовать, насколько близка на самом деле аналитическая практика к тому самому, что он описывает в общих чертах как лежащее совершенно вне всего того, что считалось тогда психологией. Но ему ничего на деле не остается, как вернуться к требованиям все того же *Я*.

Что касается меня, то я, конечно же, не вижу здесь ничего такого, что было бы к анализу несводимо. Пресловутый докладчик слишком просто выходит из положения, когда, заявляя, что бессознательное не артикулируется в первом лице, ссылается на мои высказывания в отношении того, что субъект получает свое сообщение от другого в обращенной форме.

Этого, конечно же, недостаточно. В свое время я сказал как раз, что истина говорит *Я*. *Я, истина, я говорю*. Что ни докладчику, ни Политцеру, не приходит в голову, так это, что Я, о котором идет речь, может оказаться неисчислимым, что Я не нуждается в непрерывности, чтобы свои действия множить.

Главное состоит не в этом.

# 4

Если уж суждения используются таким образом, почему бы нам, прежде чем расстаться, не обратиться к известному суждению *ребенка бьют*? Именно на высказывании весь этот фантазм и держится. Можем ли мы индексировать его как нечто такое, что носит у нас название истинного и ложного?

Этот случай, показательный в том смысле, что из определения суждения, каково бы это определение ни было, его исключить нельзя, обнаруживает, что если суждение это и создает впечатление исходящего от субъекта, то субъект этот, как анализ Фрейда тут же нам демонстрирует, оказывается разделен – разделен наслаждением. Говоря разделен я имею в виду, что те, от кого можно это услышать, пресловутые дети, которые *werden* (*буд*ут – вспомним философию *буд*уара) *geschlagen*, би*ты*, все равно, как эту фразу ни *верти*, отсылают нас к *ты*, к тому, кто их бьет и остается не назван.

*Ты бьешь меня* – вот она, та половинка субъекта, чья формула связывает его с наслаждением. Он действительно получает в обращенной форме свое собственное сообщение – что означает, в данном случае, свое собственное наслаждение в форме наслаждения Другого. Именно так и обстоит дело, когда фантазм связывает образ отца с тем, что выступает поначалу как другой ребенок. Дело в том, что отец получает наслаждение, когда его бьет, что в данном случае и наделяет фразу как смыслом, так и истинностным значением – истинностным, впрочем, только наполовину, так как тот, кто отождествляет себя с другой половиной, с субъектом ребенка, ребенком этим являлся разве лишь на промежуточной, реконструированной Фрейдом стадии, стадии, которая никогда, никаким образом, памятью не восстанавливалась и где пресловутый ребенок – это действительно он сам.

Мы снова пришли к тому, что тело может оказаться лишено облика. Отец, или кто-то другой, кто играет здесь его роль, обеспечивает функционирование наслаждения, дает ему место – он даже, собственно, и не назван. Бог, лишенный зримого облика, так оно и есть. Но уловить его при-

сутствие все же можно, хотя бы в качестве тела.

Что, имея тело, не существует? Ответ – большой Другой. Если мы в него, в этого большого Другого, верим, то тело у него есть и тело это нельзя исключить из субстанции того, кто сказал *Я есмь то, что Я есмь* – высказывание, представляющее собой совершенно другую форму тавтологии.

Именно по этому поводу я позволю себе, прежде чем мы сегодня расстанемся, высказать то, что при взгляде на историю настолько бросается в глаза, что удивительно, как на это раньше недостаточно, а то и вовсе не обращали внимания – что единственными настоящими верующими являются материалисты.

Это подтверждается историческим опытом – я имею в виду тот последний исторический всплеск материализма, что пришелся на восемнадцатый век. Материя – вот что является для них Богом. А почему бы и нет, в конце концов? Этот способ подвести под него базу кажется мне более основательным, чем другие.

Только вот нам с вами этого, тем не менее, мало. Потому что у нас с вами есть, если вы позволите мне так выразиться, логические потребности. Потому что мы с вами являемся существами, рожденными избыт(очн)ым наслаждением, результатом использования языка.

Говоря *использование языка*, я вовсе не хочу сказать, будто это язык работает на нас. Это мы, скорее, работаем на него. Это он, язык, использует нас, и именно благодаря этому наслаждение имеет место. Вот почему единственным шансом существовать является для Бога наслаждение – необходимо, чтобы Он (с большой буквы) наслаждался, чтобы Он был наслаждением.

И вот почему Саду, этому умнейшему из материалистов, ясно было, что целью смерти отнюдь не является неодушевленное состояние.

Прочтите рассуждения Сен-Фонда в середине *Жюльетты*, и вы поймете, в чем дело. Говоря, что смерть представляет собой не что иное, как невидимое сотрудничество в природном процессе, он подразумевает, что для него, после смерти, все остается одушевлено – одушевлено желанием наслаждения. Наслаждение это он может с

равным успехом назвать и природой, но из контекста его слов очевидно, что речь идет о наслаждении. Да, но чьем? Единственного существа, которому достаточно сказать *Я есмь то, что Я есмь.*

Но почему? Каким образом удалось Саду почувствовал это так остро?

Здесь как раз и сыграло свою роль то, что выступает на поверхности как его садизм. Все дело в том, что быть тем, что он есть – есть по его словам – он отказывается. Яростно призывая соработничать природе в ее смертоносной, порождающей все новые и новые формы, активности, что он, в сущности, делает? Всего-навсего обнаруживает свое бессилие быть чем-то другим, кроме как орудием божественного наслаждения.

Здесь Сад выступает как теоретик. Почему является он теоретиком? Я, может быть, еще найду время, в последнюю минуту, как это у меня водится, это вам объяснить.

Другое дело практика. Из множества разных историй, которые, кстати говоря, находят в его писаниях свое подтверждение, вы сами знаете, что практик – это просто-напросто мазохист.

Это единственная мудрая и удобная позиция, когда дело касается наслаждения, так как выбиваться из сил, чтобы стать орудием Бога, это поистине изнурительно. Мазохист же – это, в сущности, тонкий юморист. Бог ему ни к чему – домашней прислуги вполне достаточно. Он не чужд наслаждению – естественно, в разумных пределах – и при этом, как всякий порядочный мазохист, он, ясное дело, как это из написанного им и явствует, про себя посмеивается. Это господин, но господин с юмором. Так почему, черт побери, оказывается Сад теоретиком? Откуда у него это мучительное, ибо в осуществлении своем от него никак не зависящее, желание, выраженное им письменно в недвусмысленной форме, чтобы частицы, в которых заключены фрагменты разодранных, раскромсанных, расчлененных самым невероятным образом в его воображении живых тел были непременно поражены, если дело должно быть доведено до конца, второй смертью? Для кого она, эта вторая смерть, достижима?

Для нас, конечно. Я сказал это уже давно, в связи с софокловой Антигоной. Только я, будучи психоаналитиком, обратил внимание на то, что вторая смерть наступает до первой, а не после нее, как мечтал о том Сад.

Сад был теоретиком. А почему? Потому что он любит истину.

Он не хочет ее спасти, нет – он ее любит. А доказывает эту любовь то, что он от нее, этой истины, отказывается и потому не видит, похоже, что, провозглашая смерть Бога, он Его возвышает, за Него свидетельствует – хотя бы тем, что сам он, маркиз де Сад, если и получает наслаждение, то лишь с помощью жалких уловок, о которых я только что говорил.

Но если, возлюбив истину, человек оказывается в плену системы столь очевидно симптоматического характера, о чем это говорит? И здесь становится ясно одно – выступая в качестве осадка языковой деятельности, в качестве того самого, в силу чего языковой деятельности не удается – чего обыкновенно не замечают – урвать из наслаждения ничего, кроме того, что я назвал в прошлый раз энтропией избыто(чно)го наслаждения, истина, будучи вне дискурса – это же его, запретного наслаждения, родная сестра!

Я говорю *сестра*, имея в виду лишь родственность, состоящую в том, что если самые основополагающие логические структуры привиты на самом деле к этому вырванному у наслаждения черенку, то тут же встает обратный вопрос – какому наслаждению соответствуют тогда достижения логики в наше время? Тот вывод, к примеру, что не существует логической системы, непротиворечивость которой, какой бы слабой, как говорят логики, она ни была, не отмечена была бы знаком неполноты, полагающей ей предел? Этот способ убедиться в том, что сами основания логики дают трещины – какое наслаждение за ним стоит? Что, другими словами, представляет собой здесь истина?

Характеризуя отношения между истиной и наслаждением как отношения семейные, свойские, я делаю это не случайно и не напрасно, а с тем, чтобы вам легче было их в аналитическом дискурсе разглядеть.

Недавно как раз кто-то читал американцам лекцию на

тему, которая всем хорошо известна – речь шла о том, что у Фрейда был роман с его свояченицей. Ну и что? Ни для кого не секрет, какое место занимала в жизни Фрейда Мина Бернэ. Приправить это юнговскими сплетнями недорогого стоит.

Но мне важна здесь позиция свояченицы. Ведь Сад, которого, как известно, разлучил с женой эдипов запрет – в браке, как теоретики куртуазной любви нам давно объяснили, любви не бывает – не обязан ли он любовью к истине своей свояченице?

На этом вопросе я и закончу.

*21 января 1970 года.*

# V
# ЛАКАНОВСКОЕ ПОЛЕ

*Фрейд маскирует свой дискурс.*
*Счастье фаллоса.*
*Средства наслаждения.*
*Гегель, Маркс и термодинамика.*
*Богатство, собственность богача.*

| Г | У |
|---|---|
| $\frac{S_1}{\$} \rightarrow \frac{S_2}{a}$ | $\frac{S_2}{S_1} \rightarrow \frac{a}{\$}$ |
| $\frac{\$}{a} \rightarrow \frac{S_1}{S_2}$ | $\frac{a}{S_2} \rightarrow \frac{\$}{S_1}$ |
| И | А |

Мы пойдем дальше, и чтобы у нас недоразумений не возникало, я хотел бы сразу дать вам, в первом приближении, следующее правило: всякий дискурс отсылает нас к тому, над чем он, по собственному признанию, хочет господствовать. Этого достаточно, чтобы понять, в какой родственной связи состоит он с дискурсом господина.

В этом и состоит как раз трудность дискурса, который я пытаюсь приблизить, насколько это возможно, к дискурсу аналитика – ведь этот последний непременно противится всякой воле к господству, и уж во всяком случае в ней ни за что не признается. Я говорю *не признается* не потому, что ему приходится эту волю скрывать, а потому что в дискурс господства всегда, в конце концов, легко соскользнуть.

На самом деле, мы уходим от аналитического дискурса в сторону того, что является, по сути дела, обучением дискурсу сознания и возобновляется день ото дня, до бесконечности. Один из лучших моих друзей, очень близкий мне – в психиатрии, разумеется – охарактеризовал его лучше всего, назвав его дискурсом синтеза, дискурсом сознания, которое подчиняет все своему господству.

Именно ему адресовано было то, что говорил я когда-то давно по поводу психической причинности, и положения, которые я тогда высказал, свидетельствуют о том, что уже задолго до того, как аналитическим дискурсом овладеть, я знал, в каком направлении надо идти. Говорил же я приблизительно следующее – *Можно ли воспринимать эту психическую активность иначе, чем сновидение, если тысячи раз на дню улавливает наш слух то пестрое чередование инерции и судьбы, бросков игральных костей и приступов оцепенения, ложных успехов и непризнанных встреч, из которых соткана человеческая жизнь?*

Поэтому самое большее, что вы от моего дискурса в смысле ниспровержения основ можете ожидать, это то, что он не претендует ни на какое решение.

## 1

Ясно, тем не менее, что самым животрепещущим является в дискурсе то, что отсылает нас к наслаждению.

Наслаждение дискурс затрагивает непрерывно, хотя бы потому, что возник из него. И стоит ему сделать попытку к своим истокам вернуться, как он его вновь пробуждает. И в этом смысле всякое умиротворение ему чуждо.

Фрейд, надо сказать, говорит вещи очень странные, совершенно противоположные по своему характеру последовательному и связному дискурсу. Субъект дискурса не знает себя как держащего речь субъекта. Если он не знает, *что* говорит, это еще куда ни шло – за него всегда договаривали другие. Но Фрейд утверждает, что субъект не знает *кто* говорит.

Знание – я напоминал об этом достаточно часто, чтобы вы это себе хорошо усвоили – знание это то, что говорится, что высказано. Так вот, бессознательное – это когда знание говорит само по себе.

Именно за это должна была бы идти на Фрейда атака со стороны того, что называют, вкладывая в это более или менее расплывчатый смысл, феноменологией. Чтобы воз-

разить Фрейду, недостаточно было напомнить, что знание знает себя неизреченным образом. Нападая на Фрейда, следовало поставить ему в упрек то, что, по его мнению, знать может любой, что знание перебирается, дробится, перечисляется, а главное – тут-то вся и загвоздка– то, что говорится, говорится, словно по четкам, само по себе, никто этого не говорит.

Я хотел бы с вашего позволения сформулировать один афоризм. Вы увидите потом, почему я начал издалека. Такое обыкновение у меня действительно водится, но сегодня, к счастью, половины первого еще нет, так что на этот раз я вас не задержу. Если бы я начинал всегда занятие так, как на самом деле мне хочется, это показалось бы слишком резко. Как раз потому, что мне этого хочется, я этого и не делаю – я приучаю вас постепенно, я стараюсь вас не шокировать. Я собирался начать с афоризма, который, надеюсь, поразит вас своей очевидностью – именно он объясняет, почему, несмотря на протесты, которыми встретил Фрейда интеллектуальный рынок, идеям его суждено было восторжествовать. Очевидно стало главное – Фрейд не говорит глупостей.

Именно этим и обусловлено своего рода первенство, которое ему в нашу эпоху принадлежит. То же самое относится, вероятно, и к еще одному мыслителю, который, как известно, сохраняет, несмотря ни на что, свою актуальность. У того и другого, у Фрейда и Маркса, есть одна общая черта – оба они не говорят глупостей.

А видно это вот почему: начиная им возражать, вы всегда рискуете сбиться, и действительно сбиваетесь, к какой-нибудь глупости. Они вносят разлад в речь тех, кто пытается их зацепить. И речь эта быстро и необратимо вырождается в академическую, конформистскую, отсталую болтовню.

Так что пусть они говорят глупости на здоровье. Ведь тем самым они продолжают Фрейда, образуя определенный разряд людей, тот самый, о котором у нас идет речь. Почему мы, в конце концов, вообще называем какого-нибудь умника дураком? Всегда ли мы говорим это в осуждение? Вы не замечали никогда, что мы часто говорим о ком-то, что он дурак, имея в виду, что он, в сущности, не такой уж плохой

человек? Что нас гнетет, так это неспособность понять точку его соприкосновения с наслаждением. Вот почему жалуем мы его этим титулом.

И это тоже составляет достоинство речи Фрейда. Здесь он всегда на высоте, на высоте речи, которая держится в максимально возможной близости от того, что имеет отношение к наслаждению – настолько близко, насколько это до него являлось возможным. А это совсем не просто. Непросто оставаться в том месте, где речь возникает и, возвращаясь, терпит крушение у самых берегов наслаждения.

На этот счет Фрейд, очевидно, порою чего-то недоговаривает, предоставляя нас самим себе. Так, замалчивает он вопрос о наслаждении женщины. По последним сведениям, мистер Гиллеспи, известный в качестве замечательного посредника между многочисленными направлениями, родившимися в психоанализе за последние пятьдесят лет, с необычайным энтузиазмом приветствовал в последнем номере *International Journal of Psycho-Analysis* достижение ученых Вашингтонского университета, которым удалось путем ряда экспериментов по изучению вагинального оргазма пролить свет на давно обсуждавшийся вопрос о первичности в развитии женщины наслаждения, представляющего собой поначалу эквивалент мужского.

Эксперименты эти, проведенные Мастером и Джонсом, не лишены, по правде говоря, занимательности. И тем не менее, когда я, не имея возможности ознакомиться с самим текстом, а по цитатам из него, обнаружил в нем мысль о том, что главный оргазм, оргазм чисто женский, испытывается всей личностью как одним целым, мне стало интересно, каким образом цветная кинокамера помещенная в подобие пениса и способная регистрировать изнутри происходящее внутри окружающих ее внутренних стенок, может нам об этой пресловутой личности рассказать.

Все это, возможно, и интересно как сопровождение и дополнение тех выводов, к которым рассуждения Фрейда приводят. Но назвать это *дискурсом* можно разве лишь в том смысле, в котором употребляем мы слово *дискант*. Вы знаете, что такое дискант? Так называли то, что записывалось в системе григорианского пения на полях основной

мелодии. Это тоже можно спеть, это прекрасно в качестве аккомпанемента, но это, в конечном счете, совсем не то, что мы от григорианского хорала ждем.

И теперь, когда пресловутый *дискант* звучит так навязчиво, самое время в максимально выпуклой форме напомнить о том, что я назвал бы попыткой икономической редукции, редукции, которую Фрейд предпринимает в своих рассуждениях о наслаждении.

Фрейд не случайно их таким образом маскирует. Вы сами увидите, что получается, когда они звучат прямо. Но именно так я и счел нужным их сегодня озвучить, озвучить в форме, которая, я надеюсь, поразит вас, хотя ничего, кроме, разве что, верной тональности фрейдовского открытия, вы в ней не расслышите.

## 2

Мы не станем рассуждать о наслаждении таким образом.

Я уже достаточно вам на этот счет рассказал, чтобы вы поняли, что наслаждение – это настоящая бочка Данаид, и что стоит однажды почерпнуть из нее, никогда не знаешь, где этому будет конец. Начинается с легкой щекотки, а кончается газовым факелом. С наслаждением так всегда и бывает.

Я начну с другого фактора, о котором нельзя, мне думается, сказать, будто он аналитическому дискурсу полностью чужд.

Если вы прочтете юбилейные материалы, заполняющие этот выпуск *International Journal*, вы придете к выводу, что авторы поздравляют друг друга с взаимной солидарностью, которая за истекшие пятьдесят лет себя обнаружила. Попробуйте убедиться сами – возьмите любой номер за эти пятьдесят лет, и вы никогда не догадаетесь, когда он вышел. В нем всегда будет одно и то же. Это всегда довольно бесцветно – к тому же, поскольку анализ является консервантом, авторы тоже одни и те же. Просто в последнее время, утомившись немного, они сотрудничают с журналом не так активно. Они явно поздравляют себя с тем, что ис-

текшие пятьдесят лет прекрасно подтвердили, в конечном счете, что источником анализа является доброта, и что за эти годы, по мере того, как учение Фрейда постепенно тускнело, все яснее, к счастью, становилась важность открытия того, что получило у них название *автономного Эго*, то есть *Эго*, свободного от конфликтов.

Таков оказался итог пятидесяти лет работы, начало которой положило внедрение трех психоаналитиков, некогда процветавших в Берлине, в американское общество, где рассуждения о целиком автономном Эго обещали, разумеется, дать обильные всходы. Для возврата к дискурсу господина лучшего и не пожелать.

Это наводит на мысль об обратных, ретрогрессивных, так скажем, последствиях любых попыток трансгрессии, каковой, как-никак, анализ, одно время являлся.

Так вот, мы будем строить свои рассуждения вокруг слова, которое вы, листая этот номер, наверняка встретите, поскольку оно связано с одной из главных тем аналитической пропаганды – по-английски это слово, известное нам как *счастье*, звучит как *happiness*.

Если не считать невеселого определения, что счастье – это быть как все, надо честно признаться, что пресловутое счастье, в котором автономное Эго могло бы найти свое разрешение – никто не знает, что это такое. По словам Сен-Жюста, счастье стало в эту, то есть его собственную, эпоху политическим фактором.

Попробуем вдохнуть в это понятие жизнь с помощью другого решительного положения, которое, обратите внимание, является в теории Фрейда центральным – нет иного счастья, кроме как счастье фаллоса.

Фрейд формулирует это очень по-разному, порою даже в наивной форме, сводя все к тому, что ничто не идет в сравнение с той полнотой счастья, которую доставляет мужской оргазм.

Беда лишь в том, что согласно фрейдовой теории получается, что счастлив, собственно, только фаллос, а вовсе не его обладатель. Даже тогда, когда, не из жертвенности, нет, а движимый отчаянием, погружает он его в лоно партнерши, переживающей, якобы, свою обделенность.

Психоаналитический опыт положительно учит нас, что обладатель оного всячески изощряется, пытаясь добиться, чтобы его партнерша смирилась с тем, что его лишена, но все потуги его любви, все нежности и усилия угодить остаются напрасны, так как бередят рану лишения еще больше. Таким образом, рана эта не только не компенсируется удовлетворением, которое обладатель мог бы получить, сумев исцелить ее, а напротив, растравляется еще больше его присутствием, присутствием того, сожаление о чем причиной болячки и послужило.

Именно об этом говорит то, что Фрейд сумел извлечь из речей истерического больного. Отсюда и явствует как раз, что истерический больной облекает в символическую форму первичную неудовлетворенность. На место, которое занимает у такого больного неудовлетворенное желание, я обратил в свое время внимание, воспользовавшись примером, прокомментированным мной в работе, известной под заглавием *Направление психоаналитического пользования и основания его действенности*, примером пресловутого сновидения красавицы-жены мясника.

Вспомните: есть красавица-жена и есть ее жеребец-супруг, олух чистой воды. Отсюда ее нужда показать ему, что в роскоши, которой он собирается ее побаловать, она не нуждается, так как в главном это, мол, ничего не изменит – хотя главное это, собственно, у нее есть. Вот так. Но поскольку и ее горизонт весьма ограничен, есть кое-что, чего она не видит сама – она не видит, что лишь уступив его, это главное, другой, получила бы она свое избыто(чно)е наслаждение. Именно об этом в сновидении идет речь. Но она этого в сновидении не видит – больше тут сказать нечего.

Зато это видят другие. Так происходит, например, с Дорой. Поклоняясь объекту желания, которым стала для нее, внутри ее горизонта, женщина – та, за которой она укрывается и которая носит в описании случая имя г-жи К., та самая, которую станет она созерцать в облике Дрезденской Мадонны, – она заглушает им, этим поклонением, свои претензии на пенис. Почему и говорю я, что жена мясника не видит, что в конечном счете и она, как Дора, была бы счастлива уступить этот объект другой.

Существуют и другие решения. Если я указываю на это, то лишь потому, что оно самое скандальное.

Есть множество других ухищрений, позволяющих возместить это наслаждение, механизмы которого, носящие социальный характер и ведущие к возникновению эдипова комплекса, таковы, что будучи единственным, что могло бы принести счастье, оно его как раз поэтому исключает. В этом и заключается значение эдипова комплекса. Вот почему самое интересное в психоаналитическом исследовании – это узнать, каким образом, в обход запрета на фаллическое наслаждение, возникает то, что мы возводим к чему-то по отношению к фаллическому наслаждению совершенно иному, к тому, чье место на нашей начетверо разграфленной схеме определяется функцией избыто(чно)го наслаждения.

Говоря это, я всего-навсего напоминаю о тех описанных Фрейдом разительных фактах, на которые мне уже не раз приходилось обращать внимание и которые мне хочется теперь вписать как часть, не центральную, но смежную, в схему, которую я пытаюсь построить – схему того, как выстраиваются отношения между дискурсом и наслаждением. Именно в этой связи я напоминаю о них и пытаюсь дать им дополнительный смысл, призванный развенчать в ваших глазах ту мысль, что фрейдовы рассуждения опираются, будто бы, на биологические данные о сексуальности.

Я задержусь здесь, обратив внимание на одну вещь, которую, признаться, обнаружил для себя не слишком давно. Самые очевидные, на поверхности лежащие вещи и остаются, как правило, незамеченными. Однажды я неожиданно задался вопросом – а как, собственно, по-гречески будет *пол*?

Самое худшее, что у меня не было под рукой французско-греческого словаря, да такого и не существует, есть только совсем маленькие, которые никуда не годятся. Я нашел слово *genos*, которое с полом, разумеется, не имеет ничего общего, поскольку означает массу других вещей – расу, родословную, порождение, размножение. В конце концов обнаружилось и другое слово – *phusis*, *природа*, но и у него коннотации совершенно иные.

Распределение живых существ, определенной части их, на два класса, со всеми вытекающими отсюда последствия-

ми, то есть, вторжением смерти, поскольку другие существа, пола не имеющие, как бы и не умирают – это вовсе не то, что мы имеем в виду, на что ставим мы смысловой акцент, произнося слово *пол*. Вовсе не эта, биологическая, составляющая выходит выпукло на первый план. Почему и надо очень тщательно все взвесить, прежде чем делать вывод, будто функция пола у Фрейда обоснована органицизмом или просто отсылает нас к биологическим данным.

И здесь как раз время вспомнить о том, что слово *пол*, он же *секс*, соответствует по своим смысловым акцентам способу употребления и кругу значений латинскому *sexus*. В отношении греческого нужно поискать соответствия в других живых языках, но в латинском слово это происходит, ясное дело, от *secare*. В латинском *sexus* имплицитно содержится, таким образом, то, на что я с самого начала и указал – что все строится вокруг фаллоса.

Конечно, в сексуальных отношениях участвует не только фаллос. Но этот орган является привилегированным в том смысле, что наслаждение его можно, в каком-то отношении, обособить. Его можно представить себе исключенным из целого. Попросту говоря – я не хочу растворять это в какой-то символике – он обладает как раз тем свойством, которое среди всего многообразия сексуальных механизмов можно рассматривать как исключительное и специфическое. Не так уж много найдется, на самом деле, животных, у которых орган, осуществляющий половой акт, так легко поддавался бы изоляции – его функции, набухание и детумесценция, задаются четкой, так называемой, оргазмической, кривой, и как только это кривая пройдена, наступает конец. *Post coitum animal triste* – истина давно известная. И никакого преувеличения в ней нет. Но это значит, что он испытывает разочарование, не так ли. Есть в этом что-то такое, что не имеет к нему ни малейшего отношения. Можно, конечно, на вещи смотреть по-другому, можно по этому поводу радоваться, но Гораций, в конечном итоге, находил это, скорее, грустным, и это доказывает, что он сохранял еще какие-то иллюзии в отношении греческой *phusis*, этой почки, из которой сексуальное желание, якобы, распускается.

Когда мы видим, что Фрейд представляет дело именно

таким образом, это расставляет вещи на свои места. Если есть в биологических фактах что-то такое, что является откликом, смутным подобием – но ни в коем случае не истоком – позиции, чьи дискурсивные корни мы с вами сейчас рассмотрим, если есть что-то, что помогло бы нам распрощаться с биологией, дав приблизительное представление о значении того факта, что все вращается вокруг предмета, с которым один не знает, что делать, а другой не имеет вовсе, то это, пожалуй, одно явление, которое можно у некоторых видов живых существ наблюдать.

Я видел недавно, почему вам теперь об этом и говорю, очень забавных рыбок, эдаких маленьких чудовищ, у которых самка примерно таких вот размеров, а самец вот таких, совсем маленький. Он цепляется к животу самки и сцепляется с ней так плотно, что ткани их как бы сливаются – даже под микроскопом нельзя разглядеть, где кончаются ткани одного и начинаются ткани другого. Самец цепляется к ней ртом и так, собственно, свои мужские функции осуществляет. Проблема сексуальных отношений была бы, как нетрудно представить себе, значительно упрощена, если бы самец в конце концов, изможденный, растворял в организме самки свое сердце и печень и оставался через какое-то время подвешенным на нужное место живым придатком – собственно говоря, яичками.

Все дело в том, чтобы описать то, как происходит это исключение фаллоса в нашей, человеческой традиции, в игре желания.

Желание не находится в непосредственной близости к этой области. Оно предстает в нашей традиции Эросом, воплощением нехватки.

Не уместно ли тут спросить – а как можно вообще чего-то желать? Чего, собственно, не хватает? Был же тот, который сказал однажды – не утруждайтесь, ни в чем у вас нет нужды, посмотрите на полевые лилии, они не ткут, не прядут, и именно они будут в царствии Божием на своем месте.

Чтобы бросить подобный вызов нужно, ясное дело, быть тем, кто идентифицировал себя с отрицанием подобной гармонии. Именно так, во всяком случае, его истолковали и поняли, назвав Словом. До такой степени отрицать оче-

видное только Слово и могло позволить себе. Именно такое представление, во всяком случае, о нем сложилось. *Я есмь Путь, Истина и Жизнь*, говорил он, по словам одного из учеников. Но то, что его назвали Словом, и свидетельствует как раз о том, что люди, как-никак, знали, что говорили, когда поняли, что лишь само Слово могло себя до такой степени дезавуировать.

Это правда, что полевая лилия – мы действительно можем ее представить себе как тело, всецело отданное наслаждению. Каждый этап роста соответствует новому бесформенному ощущению. Растительное наслаждение. Ничто не позволяет его, так или иначе, избежать. Но может быть, жизнь растения – это вечная мука? Кто знает? В конце концов, кого, кроме меня, занимают подобные мысли?

Другое дело животное, обладающее тем, что мы зовем икономией – возможностью двигаться – двигаться, чтобы получить наслаждения как можно меньше. Это и называется как раз принципом удовольствия. Там, где наслаждение, оставаться не стоит, потому что Бог свидетель, до чего это доводит – я об этом только что говорил.

Но как-никак, а способы наслаждения нам известны. О щекотке и пламени я вам только что говорил. Тут мы все знатоки. Собственно, это оно и есть, знание. Никому, в принципе, не хочется воспользоваться им по полной программе, но искушение такое, однако, налицо.

Это и есть то самое, к чему Фрейд к 1920 году пришел – более того, это место, с которого он повернул назад.

Открытие его состояло в том, что он постиг азбуку бессознательного, и что бы на этот счет не говорили, сводилось это, поверьте, к тому, что он обнаружил существование некоего связно артикулированного знания, за которое, строго говоря, ни один субъект не несет ответственность. Когда субъект встречает его, неожиданно сталкивается с ним, он, его выговаривающий, оказывается сбит с толку.

Первое открытие состояло в этом. Говорите, говорите – призывал Фрейд субъектов – делайте, как истеричка, а мы посмотрим, с каким знанием вы столкнетесь, увидим, каким образом вы стремитесь к нему или, напротив, его отталкиваете, и поглядим, что из этого выйдет. И этот метод привел

его, вполне закономерно, к открытию того, что назвал он *по ту сторону принципа удовольствия.* Суть его в том, что главное, от чего зависит то, с чем мы в исследовании бессознательного имеем дело – это повторение.

*Повторение* не означает, что, закончив какой то цикл, мы его начинаем снова, как происходит, к примеру, с пищеварением или любой иной физиологической функцией. *Повторение* – это строгое обозначение той черты, которая, как я доказал, идентична у Фрейда единичной черте, палочке, элементу письма – черты как того самого, что сохраняет память о вторжении наслаждения.

Вот почему ничего удивительного нет в том, что правило и принцип удовольствия оказывается нарушенным и оно, в результате, уступает место неудовольствию. Именно так – не обязательно боли, а неудовольствию, которое наслаждение и есть.

Именно здесь становится ясно, что введение в желание генеративного, генитального, генетического элемента ничего общего не имеет с половой зрелостью.

Тема преждевременной сексуализации представляет, разумеется, кое-какой интерес. То, что называют первыми сексуальными позывами действительно дает у себя знать у человека, что называется, преждевременно. Но независимо от того факта, что наслаждение может в них играть свою роль, несомненным остается и то, что фактор, которым обусловлено расщепление между либидо и природой, не сводится к органическому автоэротизму. Есть, кроме человека, и другие животные, способные себя пощекотать, обезьяны, но это не помогло им выработать желание в сколь-нибудь развитой форме. Речь оказывается, напротив, куда более благоприятным фактором.

Дело не только в речевых запретах, а в господстве женщины как матери, матери, которая говорит, матери, к которой обращаются с требованием или вопросом, матери, которая приказывает и ставит таким образом маленького человечка в зависимость от себя.

Женщина скрывает наслаждение дерзать под маскою повторения. Она предстает здесь такой, какая она есть, затейницей маскарада. Она учит своего малыша красоваться.

Она подталкивает его к избыто(чно)му наслаждению, ибо она, женщина, подобна в этом цветку – именно наслаждением питаются ее корни. Средства наслаждения доступны ему по мере отказа его от наслаждения замкнутого и чуждого, от матери.

Вот здесь-то и играет свою роль своего рода общественный сговор, который путем сексуализации различий органического характера сводит то, что мы можем назвать различием между полами, к природному фактору. Этот переворот предполагает для всех один общий знаменатель – исключение специфически мужского органа. С того момента, как это произошло, мужчина, с точки зрения наслаждения, является и, одновременно, не является тем, что он есть. Что касается женщины, то она, не будучи тем, чем является он в сексуальном плане, с одной стороны, и оставаясь тем, от чего он отказывается в качестве наслаждения, с другой, возникает немедленно как объект.

Напомнить об этом абсолютно необходимо теперь, когда мы, говоря об изнанке психоанализа, задаемся вопросом о роли психоанализа в политике.

## 3

В политику войти нельзя, не признав, что не существует дискурса – не только аналитического – где речь не шла бы о наслаждении – по меньшей мере тогда, когда ожидают от него работы, работы истины.

Говоря, что дискурс господина несет в себе скрытую истину, мы вовсе не имеем в виду, будто он спрятался, затаился. Слово *caché*, скрытый, имеет во французском свои этимологические достоинства. Происходит он от *coactus*, и, соответственно, глаголов *coactare*, *coactitare*, *coacticare*, подразумевая что-то сжатое, концетрированное, полученное путем наложения, что-то такое, что нужно развернуть, чтобы можно было прочесть.

Ясно, что истина от господина скрыта, и небезызвестный вам Гегель высказал предположение, что она предо-

ставляется в его распоряжение трудом раба. Дело, однако, в том, что дискурс Гегеля – это дискурс господина, имеющий место тогда, когда в итоге пути, проделанного культурой, место господина заняло государство, что и позволяет ему претендовать на абсолютное знание. И дискурс этот был открытиями, сделанными Марксом, решительно опровергнут. Комментировать это в данном случае не мое дело и специальных экскурсов я делать не стану – просто покажу вам, насколько просто отсюда, с психоаналитического наблюдательного пункта, усомниться в том, что работа способна породить где-то на горизонте не только абсолютное знание, но знание вообще.

На эту тему я уже говорил с вами, и возвращаться к ней снова я не могу. Но это один из главных ориентиров, которые понадобятся вам, чтобы понять, что такое психоаналитический переворот.

В отличие от знания, которое представляет собой средство наслаждения, работа есть нечто совсем другое. Даже если она осуществляется теми, кто обладает знанием, то, что она производит, может, конечно, оказаться истиной, но только не знанием – никакая работа никогда еще знание не порождала. И препятствует этому что-то такое, о чем дает знать тщательное наблюдение над тем, как строятся в нашей культуре с отношениями между дискурсом господина и чем-то таким, что, возникнув, дало начало изучению того, что, с точки зрения Гегеля, на этот дискурс наслоилось – уклонение от абсолютного наслаждения, условия которого заданы тем, что, привязывая ребенка к матери, общественный сговор делает ее привилегированным очагом запретов.

С другой стороны, разве не подсказывает нам формализация знания, делающая всякую истину проблематичной, что речь идет не столько о прогрессе, обусловленном работой раба – можно подумать, будто в положении его есть какой-то прогресс, скорее наоборот – сколько о переносе, расхищении того знания, которое с самого начала было в мире раба скрыто, вписано в нем. Этому-то миру и предстояло дискурсу господина себя навязать. В результате, однако, обреченный на самоутверждение путем навязчивого повторения, он не мог не устрашиться утраты, обусловлен-

ной собственным вступлением в дискурс и не увидеть, как возникает тот объект *a*, на который наклеили мы ярлычок *избыто(чно)го наслаждения.*

Именно этого, в конечном счете, и не больше того, должен был господин потребовать у раба, единственного обладателя средств наслаждения.

Итак, господин довольствовался ей, этой десятиной – ничто, впрочем, и не говорит о том, будто раб так уж неохотно ею делился. Совершенно иначе обстоит дело с тем, что вырисовывается на горизонте восхождения субъекта-господина к истине, утверждающейся лишь на равенстве самой себе, на той *Эгократии*, о которой я говорил однажды и к которой в культуре, где дискурс господина расцвел, наряду с другими, столь пышно, любое утверждение по своей сути, похоже, сводится.

Если присмотреться поближе, то изъятие у раба его знания и есть та история, которую Гегель шаг за шагом прослеживает – не видя при этом, что удивительно, к чему она приведет, на что были причины. Ведь Гегель жил еще в ньютоновском мире, рождения термодинамики он не застал. Будь у него возможность взять на вооружение формулы, которые впервые позволили ту область, которую сейчас описывает термодинамика, унифицировать, как знать, может быть, он смог бы увидеть, что царствует в ней означающее, означающее, повторенное на двух уровнях, $S_1$ и вновь $S_1$.

$S_1$ – это запруда. Второе $S_1$ – это водоем, куда поступает вода, вращая турбину. У понятия *сохранение энергии* другого смысла нет – это метка инструментария, знаменующая собой власть господина.

То, что накапливается в результате падения – обязательно сохраняется. Таков первый закон. Есть, к сожалению, что-то такое, что в промежутке исчезает, точнее говоря, не поддается возврату, к возвращению в исходное состояние. Это так называемый принцип Карно-Клаузиуса, хотя немалый вклад внес в его некто Майер.

Этот дискурс, который, по сути своей, отдает первенство всему, что имеет отношение к началу и концу, пренебрегая всем тем, что, в промежутке между ними, может принадлежать к разряду чего-то такого, что связано со знанием, с

раскрытием горизонтов нового мира, чистых истин числа, того, что поддается подсчету – не указывает ли он сам по себе на нечто совершенно иное, нежели вступление в силу абсолютного знания? Сам идеал формализации, где нет ничего, кроме счета – ведь и энергия есть не что иное, как то, что поддается подсчету, то, что всегда, если манипулировать формулами определенным образом, составит в сумме одну и ту же величину – нет ли в нем, в идеале этом, некоего сдвига, некоего поворота на одну четверть, благодаря которому место господина занимает знание совершенно по-новому артикулированное и поддающееся полной формализации, а на место раба заступает не то, что каким-то образом было бы в этот новый порядок знания вписано, а нечто такое, скорее, что является его продуктом?

Маркс называет этот процесс ограблением. Только делает он это, не отдавая себе отчета в том, что секрет его лежит в самом знании, точно так же, как и секрет сведения самого работника к чистой стоимости. Переместившись этажом выше, избыто(чно)е наслаждение уже не является избыт(очн)ым наслаждением, а получает просто-напросто форму стоимости, которую нужно прибавлять или вычитать из общей суммы накоплений – накоплений, природа которых претерпела существенные изменения. Работник является теперь всего-навсего единицей стоимости – пусть обратят на это внимание те, у которых слово это рождает определенный отклик.

В прибавочной стоимости Маркс видит грабительское наслаждение. И, тем не менее, прибавочная стоимость эта является у Маркса эквивалентом прибавочного наслаждения, его бухгалтерским счетом. Смысл общества потребления заключается в том, что так называемому «человеческому», в кавычках, элементу соответствует в нем однородный элемент прибавочного наслаждения, неважно какого, представляющего собой продукт промышленного производства – одним словом, наслаждения липового.

Но людям хватает и этого. Прибавочное наслаждение можно имитировать, и на это находится немало охотников.

## 4

Пожелай я дать вам повод поразмышлять о том, где берет начало процесс, основы которого заложены в нашей науке, я бы посоветовал вам, поскольку я сам его недавно перечитал, взять в руки *Сатирикон*.

То, что сделал из него Феллини, мне пришлось по душе. Что ему никогда не простится, так это орфографическая ошибка – он написал *Satyricon*, хотя никакого *y* там нет, но, не считая этого, фильм вовсе не плох. Он не так хорош, как текст Петрония, потому что текст – это серьезно, когда читаешь, не зацикливаешься на образах и видишь, что за ними стоит. Одним словом, это прекрасный пример той разницы, что существует между господином и богачом.

Что в речах, каких бы то ни было, пусть даже самых революционных, действительно замечательно, так это то, что они никогда не называют вещи своими именами, как только что – робко, но это все, на что я способен – попробовал сделать ваш покорный слуга.

Время от времени я листаю книги, написанные экономистами. И мне ясно становится, насколько это для нас, аналитиков, интересно, так как то, что нам в анализе предстоит еще сделать, так это ввести понятие нового энергетического поля, нуждающегося в иных структурах, нежели физические – поля наслаждения.

Вы можете сколько угодно, будучи Максвеллом, искать общие формулы для термодинамического и электромагнитного полей – вы все равно безнадежно упретесь в поле гравитационное, и это забавно, так как с гравитационного поля все, собственно, и началось – но какая, в конце концов, для нас разница!

Что касается поля наслаждения – ему, увы, лакановским полем, никогда не бывать, так как у меня наверняка не достанет времени даже для выработки самых основ, а так хотелось бы – то на это счет нужно сделать несколько замечаний.

Мы открываем книгу Смита *Богатство наций*. Не только он, но все они, Мальтус, Рикардо и другие, ломали себе голову над этим вопросом – что оно, национальное богатство, собой представляет? Все они пытались дать определение

потребительской стоимости и, что немаловажно, меновой стоимости – Маркс не был первым, кто до нее додумался. Интересно, однако, то, что за все время существования экономистов никому даже в голову не пришло заметить – не говоря уж о том, чтобы сделать из этого выводы – что богатство, это собственность богача. Точно так же как психоанализ – я однажды уже говорил об этом – создан психоаналитиком, это принципиальная его черта, именно с психоаналитика и надо всегда начинать. Почему бы, говоря о богатстве, не начать с богача?

Через две минуты мне будет пора заканчивать, но я все же поделюсь напоследок одним наблюдением, непосредственно из аналитического опыта не вытекающим – каждый из вас может его сделать самостоятельно.

Богатый имеет собственность. Он покупает, покупает все, во всяком случае – много. Но я хотел бы, чтобы вы задумались над одним обстоятельством – а ведь он не платит.

Люди воображают, будто он платит – повод к этому дают подсчеты, связанные с преобразованием прибавочного наслаждения в прибавочную стоимость. Но ведь любому известно, что прибавочная стоимость эта – он ее регулярно себе отчисляет. Прибавочное наслаждение в обращении не участвует. И есть, в частности, одна вещь, которую он уж точно не оплачивает никогда – это знание.

Если посмотреть на вещи со стороны прибавочного наслаждения, ясно будет, что одной энтропией дело здесь не обходится. Есть еще кое-что, и нашелся человек, который обратил на это внимание. Дело в том, что знание – оно предполагает эквивалентность между этой энтропией, с одной стороны, и информацией, с другой. Это, конечно, не одно и то же, и все не так просто, как г-н Брийуин себе представляет.

Богач является господином постольку лишь – в связи с этим я вас к *Сатирикону* и отсылаю – поскольку он себя выкупил. Господа, которых мы в античном мире встречаем, не были деловыми людьми. Посмотрите как к этими последним относится Аристотель – они ему омерзительны.

Напротив, когда раб уже выкуплен, господином он является лишь постольку, поскольку начинает всем рисковать.

Именно так представляет дело в *Сатириконе* не кто иной, как Тримальхион собственной персоной. Почему он, разбогатев, может все купить, не платя? Потому что наслаждение его никак не касается. Он повторяет совсем не его. Он повторяет собственный выкуп. Он выкупает все, точнее – все, что попадается ему на глаза, он немедленно выкупает. Из него вышел бы хороший христианин. Быть выкупленным – это его судьба.

Но почему люди позволяют богатому себя покупать? Потому что то, что он вам дает, причастно его сущности как богача. Покупая у богатого, у развитой нации, вы верите – в этом смысл национального богатства и есть – что вы поднимаетесь до уровня богатой нации сами. Беда лишь в том, что в сделке этой вы теряете ваше знание – то самое, что вам давало ваш статус. Его, знание это, богатый получает в придачу. Проще говоря, бесплатно.

То, что я хотел вам сегодня сказать, подошло к концу. Я сформулирую лишь, напоследок, один вопрос – что происходит, когда на уровне, где главная роль принадлежит богатому, тому, для кого знание служит лишь механизмом эксплуатации, активируется и поднимает свой голос то, что имеет отношение к избыто(чно)му наслаждению, к *a*? Это и является, в каком-то смысле, тем самым, на что функция аналитика способна впервые пролить хоть какой-то свет.

В чем суть этой функции, я в следующий раз попытаюсь вам объяснить. Не в том, разумеется, чтобы сделать этот элемент элементом господства.

На самом деле, все строится, как вы убедитесь, вокруг неудачи.

*11 февраля 1979 года.*

# ПО ТУ СТОРОНУ ЭДИПОВА КОМПЛЕКСА

## VI
## КАСТРИРОВАННЫЙ ГОСПОДИН

*Господствующее означающее предопределяет кастрацию.*
*Наука, миф, бессознательное.*
*Дора и ее отец.*
*Ненужный Эдип.*

Вам начинает казаться, должно быть, что изнанка психоанализа – это то же самое, о чем говорю я в этом году как о дискурсе господина.

Я делаю это не случайно, так как у дискурса господина есть уже в философской традиции определенный кредит доверия. Однако под тем углом зрения, под которым я пытаюсь его рассматривать, он предстает несколько иначе, так как в нашу эпоху появилась, наконец, возможность выделить его в более или менее чистом виде – появилась благодаря тому, с чем мы непосредственно имеем дело, имеем дело на уровне политики.

Я хочу сказать этим, что он содержит в себе все, даже то движение, что принимает себя за революцию или, точнее, то, что называют романтически Революцией, с большой буквы. Дискурс господина, собственно, революцию и завершает, замыкая собою круг.

Оценка эта немного афористична, я согласен, но назначение ее и состоит, как у всякого афоризма, в том, чтобы осветить яркой вспышкой суть дела. На горизонте его вырисовывается тот самый факт, который нас – то есть вас и меня – так интересует: тот факт, что контрапункт у дискурса господина только один – дискурс аналитический, столь мало, казалось бы, для этого подходящий.

Я назвал его контрапунктом, потому что симметрия между ними, если таковая имеет место – а она действительно имеет место – это симметрия относительно не линии или плоскости, а именно пункта, точки. Другими словами, получается он за счет замыкания того дискурса господина, о ко-

тором я только что говорил, в петлю. Распределение четырех символов – двух индексированных S, $\$$ и *a*, в том виде, в котором я их в прошлый раз записал, и который, я надеюсь, у вас у всех в записях сохранились, как раз и демонстрирует эту симметрию относительно точки, в силу которой дискурс психоаналитика оказывается дискурсу господина прямо противоположен.

## 1

В психоаналитическом дискурсе нам случается порою встречаться с терминами, которые служат в объяснении путеводной нитью, *filum*, как, например, термин *отец*. И нам довелось видеть, как кое-кто пытается собрать воедино важнейшие относящиеся сюда данные. Поистине тягостная задача, когда выполняется она с оглядкой на то, чего, при нынешнем состоянии психоанализа, от психоаналитического высказывания и его содержания ожидают, то есть на связи генетического характера.

Говоря об отце, считают обычно нужным начинать с детства, с идентификаций, и все это превращается в удивительную, полную противоречий невнятицу. Так, мы услышим, что первичная идентификация связывает ребенка с матерью, и это действительно кажется само собой разумеющимся. Однако обратившись к Фрейду, к его работе 1921 года под заглавием *Психология масс и анализ Я,* мы убедимся, что первичной предстает в ней идентификация с отцом. Это, конечно же, довольно странно. Фрейд подчеркивает, что поначалу именно отец оказывается тем, кому отдается в первой идентификации преимущество, и происходит это потому, что именно он является тем, кто, преимущественным образом, заслуживает любви.

Это странно, конечно, поскольку не согласуется с аналитическим опытом, установившим, вроде бы, что первичными являются отношения ребенка с матерью. Налицо странное разногласие между дискурсом Фрейда, с одной стороны, и дискурсом психоаналитиков, с другой.

Не исключено, однако, что источником этих разногласий является недоразумение, и порядок, который я попытался здесь навести, предложив вам четыре конфигурации дискурсов, которые являются, в некотором роде, первичными, напомнит вам, что принципиально невозможно высказать в аналитическом дискурсе что-то сколь-нибудь связное, не памятуя о том, что если мы хотим, чтобы усилия наши, представляющие собой, как мы с вами прекрасно знаем, результат сотрудничества в работе по реконструкции с тем, кто находится в положении анализирующего, которому мы даем, в каком-то смысле, свободу действий, – чтобы эти усилия, которые мы совершаем, дабы извлечь из него, в форме приписанной ему мысли, то, что действительно им, которого мы по праву именуем в данном случае пациентом, было пережито, не прошли даром, не следует забывать, что субъективная конфигурация обладает, в силу означающих связей, объективными, прекрасно поддающимися описанию чертами, на чем и основана возможность помочь больному, интерпретируя его речь.

В определенном пункте, а именно в том самом, первом, где осуществляется связь между означающими $S_1$ и $S_2$, может открыться провал – провал, который зовется субъектом. Эффекты связи – в данном случае, связи между означающими – здесь налицо. Имеет ли где-то место переживание, именуемое более или менее справедливо мыслью, или же нет – здесь точно имеет место нечто такое, что обусловлено наличием цепочки: так, словно это было бы чем-то, относящимся к мысли. Объективность эта не просто вызывает субъекта к жизни, она предопределяет его позицию – то, что является очагом так называемых защит.

Сегодня я вновь хочу повторить, что обращаясь к средствам наслаждения, которые и есть то, что я именую знанием, господствующее означающее не только вызывает кастрацию, но и предопределяет ее.

Я вернусь сейчас к тому, что под господствующим означающим надлежит понимать, исходя из того, что мы уже на этот счет знаем.

Поначалу, разумеется, его нет. Все означающие в каком-то смысле эквивалентны, поскольку каждое их них, будучи

самим собой, характеризуется исключительно своим отличием от другого. Но именно поэтому занять место господствующего означающего способно каждое из них, так как каждое из них может, при случае, представлять субъекта перед любым другим. Именно так я его всегда и определял. Дело лишь в том, что субъект, которого оно представляет, неоднозначен. Он представлен, конечно, но, с другой стороны, наоборот, не представлен. На этом уровне в отношениях его с означающим кое-что остается скрытым.

Именно в этом состоит интрига психоаналитического открытия. Как и любое другое, оно было в какой то степени подготовлено. Подготовлено тем колебанием – больше чем колебанием – той двусмысленностью, которую защищал под именем диалектики Гегель, положив в основу своей системы субъекта, утверждающего, будто он себя знает.

Гегель осмеливается исходить из *Bewusstsein* в самом наивном его выражении, то есть из того, что всякое сознание знает себя как сознание. Однако при всем том он вплетает в это начало целый ряд кризисов – или, как он выражается, *Aufhebung* – в результате чего само *Selbstbewusstsein*, эта вводная фигура господина, находит свою трудовую истину в другом по преимуществу, в том, кто знает себя лишь постольку, поскольку он потерял свое тело, то самое тело, которое необходимо ему для поддержания жизни, пожелав сохранить его как средство доступа к удовольствию – то есть в рабе.

Как не попытаться с этой гегелевской двусмысленностью порвать? Как, исходя из того, что дает нам в распоряжение психоаналитический опыт, не увлечься на другой путь – на путь, освоить который можно лишь неоднократно на него возвращаясь?

Речь идет, попросту говоря, о том, что есть способ использовать означающее, определить который можно исходя из расщепления между господствующим означающим и тем утраченным телом, о котором мы только что говорили, телом, которое раб утратил, чтобы стать не чем иным, как тем, во что вписываются все прочие означающие.

Именно так можно было бы представить себе то знание, которое Фрейд, желая определить его, помещает в загадоч-

ные скобки *Urverdrängt* – термин, означающий, собственно говоря, то, что в вытеснении не нуждалось, поскольку было вытеснено изначально. Это обезглавленное, так сказать, знание является, однако, фактом, который можно с политической точки зрения определить, который имеет свою структуру. Когда оно, это первовытеснение, имеет место, все, что трудом производится – слово *производится* я употребляю здесь в полном, буквальном смысле – вся продукция, имеющая отношение к истине господина, то есть к тому, что он, как субъект скрывает, к этому знанию присоединяется – присоединяется постольку, поскольку оно расщеплено, *urverdrängt*, поскольку оно существует, но никто не понимает в нем ничего.

Все это, надеюсь, чем-то смутно у вас отзовется, хотя чем именно – вы поначалу и не поймете. Дело в том, что первоначально структура эта складывается в том, что можно назвать мифической основой первобытных обществ. Анализировать их как этнографические, то есть неподвластные дискурсу господина, мы можем лишь потому, что этот последний начинается лишь с возобладанием субъекта – субъекта, стремящегося найти себе опору в мифе предельно редуцированном, в мифе, отождествляющем субъект с его собственным означающим.

Вот в чем состоит та в прошлый раз мною указанная черта, которая роднит этот дискурс по природе его с математикой, где *А* представляет самого себя, не имея нужды в мифическом дискурсе, чтобы вступить в необходимые ему связи. Именно в этом своем аспекте математика представляет собой знание господина – знание, утвержденное на других законах, нежели знание мифическое.

Короче говоря, знание господина возникает как знание, совершенно свободное от мифического. И это как раз и называют наукой.

Я сказал о ней давеча в общих чертах, напомнив вам вкратце о термодинамике и, далее, о попытках обобщения в области теоретической физики. Эти последние основаны на сохранении некоего целого, представляющего собою не что иное, как постоянную величину, которая постоянно обнаруживается в счете – даже не в исчислении – производимом

путем манипуляции с цифрами: манипуляции, заданной таким образом, что в итоге счета так или иначе эта постоянная величина фигурирует. На это, и только на это, опирается то, что фундаментальная физика именует энергией.

Опора эта обусловлена тем, что здание математики нельзя выстроить не исходя из того, что означающее может означать самого себя. *А*, которое вы раз записали, можно обозначить, повторив эту запись. Но подобный подход, строго говоря, не может быть выдержанным последовательно, он нарушает правило функционирования означающего, гласящее, что оно может означать все, кроме себя самого. Именно от этого начального постулата и нужно избавиться, чтобы математический дискурс оказался возможен.

Начиная от первоначального погрешения против правила и до построения дискурса энергетики, логика научного дискурса находит опору лишь в том, что сводит истину к игре истинностных значений, исключая радикальным образом ее динамическую составляющую. По сути дела, дискурс формальной логики, как на это неоднократно указывали, принципиально тавтологичен. Занимается он тем, что упорядочивает составные суждения таким образом, чтобы они всегда были истинными, независимо от того, истинными или ложными являются суждения элементарные. Не значит ли это игнорировать то, что я только что назвал динамической составляющей работы истины?

Отличительная черта аналитического дискурса состоит в постановке им вопроса о том, чему служит та форма знания, которая отбрасывает и исключает динамизм истины.

Говоря в первом приближении – она служит вытеснению того, что обитает в мифическом знании. Но исключая это последнее, она не знает о нем более ничего, кроме как в форме чего-то такого, с чем сталкиваемся мы под видом бессознательного, то есть в качестве обломков бывшего знания, в форме знания разъятого, расчлененного. Тому, что из этого разъятого знания будет собрано, ни в дискурс науки, ни в законы ее, носящие структурный характер, возврата нет.

Это значит, что я расхожусь в данном случае с тем, что говорит Фрейд. Разъятое знание это, в том виде, в котором

мы его в бессознательном обретаем, дискурсу науки чуждо. Именно поэтому таким поразительным представляется то, что дискурсу бессознательного удается себя навязать. Удается потому – как я уже однажды высказывал это в форме, использованной мною, поверьте, лишь потому, что лучшей я не нашел, – что он не говорит глупостей. Сколь бы глупым дискурс бессознательного ни казался, он отвечает чему-то такому, что связано с появлением на свет дискурса господина. Именно это и называется бессознательным. И оно, это бессознательное, заставляет науку себя признать, признать как факт.

Будучи сделанной, то есть искусственной, наука не может не обратить внимание на то, что предстает ей как смастеренное, это бесспорно. Но ей, науке господина, строго-настрого запрещено ставить вопрос о мастере, и это лишний раз свидетельствует о том, что дело – оно сделано.

Вскоре после окончания последней войны – лет мне было уже немало – я взял на анализ трех пациентов из горного района Того, где они провели свое детство. В ходе анализа мне не удалось обнаружить в них ни следа племенных обычаев и поверий, хотя все они их отлично знали и помнили, но уже как чистой воды этнографию. Надо признаться, правда, что было сделано все, чтобы их, этих медиков, попытавшихся пробраться правдами и неправдами в медицинскую иерархию метрополии, от всего этого отучить: дело было в эпоху еще колониальную. То, что они знали на уровне этнографии, был почерпнуто ими в основном из журналов, в то время как бессознательное их функционировало строго по эдиповым правилам. Оно было продано им вместе с колониальными законами, этой формой дискурса господина, которая на фоне так называемого империализма выглядит регрессивной и экзотической. Их бессознательное не было бессознательным детских воспоминаний – это бросалось в глаза – и детство их было пережито задним числом в наших семейных, фамиль-ных (famil-iales) традициях – пишите это последнее слово так, как писал я его в прошлом году, *femme-il-iales*.* Я готов поспорить с любым аналитиком, даже имевшим сходный со мною опыт, что это именно так.

Если вы хотите заняться этнографическим исследованием, то психоанализ в этом вам не поможет. Но если это исследование не опирается на научный дискурс, то шансов совпасть с автохтонным знанием у него нет. Опереться же на научный дискурс такое исследование, к сожалению, и не подумает, потому что ему пришлось его, этот дискурс, релятивизировать. Когда я говорю, что психоанализ никакого ключа к этнографическому исследованию не дает, все этнографы, конечно же, согласятся со мной. Однако они вряд ли согласились бы со мной так охотно, скажи я им, что для того, чтобы составить себе хотя бы малое представление о релятивизации дискурса науки, то есть получить хотя бы малейший шанс объективное этнографическое исследование проделать, необходимо, повторяю, не то что пройти через психоанализ, но даже, возможно, если такое бывает, психоаналитиком стать.

Здесь, на этом распутье, мы заявляем, что психоанализ позволяет нам осознать ту самую истину, что лежит на пути, открытом марксизмом – ту истину, что дискурс связан с интересами субъекта. Это и есть то самое, что Маркс называет, в его случае, экономией, потому что интересы эти являются в капиталистическом обществе исключительно торговыми. Дело, однако, в том, что поскольку торговля связана с господствующим означающим, подобное обличение капитализма ни к чему не ведет. Так как и после социалистической революции торговля связана с этим означающим ничуть не меньше.

## 2

Я запишу сейчас на доске полностью все четыре функции дискурса в том виде, в котором я их вам описал.

$$\frac{\text{господствующее означающее}}{\text{субъект}} \rightarrow \frac{\text{знание}}{\text{наслаждение}}$$

Для этой конфигурации функций дискурса характерна разделительная черта, обусловленная различием между

господствующим означающим, с одной стороны, и знанием, с другой.

Не исключено, что в так называемых примитивных обществах, которые характеризуются у меня тем, что дискурсу господина они не подвластны – я говорю это для тех, кто хочет вникнуть в вопрос поглубже, – господствующее означающее включено в икономию куда более сложную. Именно на это указывают лучшие так называемые социологические исследования в этой области. Остается тем более этому радоваться, что простота, с которой господствующее означающее функционирует в дискурсе господина, отнюдь не случайна.

Функционирование это полностью зависит от отношений между $S_1$ и $S_2$, которые отражены в моей записи. Субъект в этом дискурсе оказывается связан – чему как раз и сопутствуют различного рода иллюзии – с господствующим означающим, в то время как погружение в наслаждение является уделом знания.

То новое, что предложил я в этом году, заключается в следующем – все эти свойственные дискурсу функции могут менять свои позиции. Что и позволяет им поочередно занимать места, которые на моей схеме никакими буквами не обозначены и которые я называю, говоря просто *сверху, слева, снизу* и *справа.*

Для тех, кто попытается, исходя из собственного здравого смысла, их обозначить, сказав, что здесь, мол, желание, а вот тут, с другой стороны, место Другого, я, немного с опозданием, добавляю вот что. Здесь фигурирует у меня то, о чем в прежнем регистре, в то время, когда я подобной приблизительностью довольствовался, я говорил, что желание человека – это желание Другого.

Место, которое располагается под желанием, это место истины. Что до Другого, то под ним находится место, где происходит утрата, утрата наслаждения, из которой выводим мы функцию избыто(чно)го наслаждения.

$$\frac{\text{желание}}{\text{истина}} \rightarrow \frac{\text{Другой}}{\text{утрата}}$$

Теперь становится ясно, чем ценен дискурс истерика. Достоинство его в том, что он упорно ставит в дискурсивном

пространстве вопрос о том, как обстоит дело с сексуальными отношениями, то есть о том, каким образом может субъект их поддерживать или, точнее говоря, не поддерживать.

На самом деле, ответ на вопрос, как он может их поддерживать, следующий – предоставляя слово Другому, Другому как месту вытесненного знания.

Интересна, однако, одна простая истина – то, как обстоит дело с сексуальными отношениями, предстает субъекту как нечто целиком ему чуждое. Это и есть то самое, что на языке Фрейда получило название вытесненного.

Но важно не это. Взятая как таковая, мысль эта была бы всего-навсего оправданием обскурантизма: истины, которые имеют для нас важность, и притом немалую, всегда, мол, оказываются темными.

Ничего подобного. Я хочу сказать, что дискурс истерика не свидетельствует о том, что низшее располагается внизу. Напротив, по набору входящих в него функций он нисколько не отличается от дискурса господина. Что и позволяет записать его теми же символами, что и этот последний, то есть *\$*, $S_1$, $S_2$, и *a*.

$$\frac{\$}{a} \rightarrow \frac{S_1}{S_2}$$

Дискурс истерика, попросту говоря, обнаруживает связь между дискурсом господина и наслаждением. Происходит это потому, что место наслаждения в нем занимает знание. Сам истерический субъект, будучи тем, что это означающее разделяет – под *тем*, в мужском роде, я разумею субъекта, – тем, кто отказывается сделать это означающее своим телом, от господствующего означающего отчужден. Характеризуя истерика, говорят о соматической услужливости. Хотя термин этот принадлежит Фрейду, не бросается ли в глаза некоторая его странность – равно как и то, что речь со стороны тела идет скорее, наоборот, об отказе. Принимая последствия, которые господствующее означающее для него несет, истерик не является рабом.

Придадим теперь истерическому субъекту тот пол, в котором он воплощается наиболее часто. Она, истеричка, объявляет на свой манер забастовку. Она не выдает своего

знания. Однако при этом она снимает маску с функции господина – функцию, с которой она остается, однако, взаимосвязанной, выявляя черты господина в том Одном, Одном с большой буквы, из которого она в качестве объекта его желания себя вычитает. Именно в этом и состоит та функция, которую мы давно, по крайней мере в своем кругу, называем функцией идеализированного отца. Не будем ходить вокруг да около и обратимся непосредственно к *Доре* – без нее нам не обойтись, – случаю, который всем моим слушателям, как я полагаю, знаком.

Читая *Дору*, важно за чередой окольных интерпретаций – я специально употребляю термин, которым характеризует икономию своих манипуляций сам Фрейд – не потерять из виду нечто такое, что Фрейд, осмелюсь предположить, покрывает собственными предрассудками.

Сделаю маленькое отступление. Помните вы этот текст или нет, обратитесь к нему еще раз и вам бросятся в глаза фразы, которые кажутся Фрейду сами собой разумеющимися – что девушка, к примеру, когда ее домогается какой-нибудь господин, должна, если она хорошая девушка, разбираться с такими неприятностями сама, что не следует по этому поводу поднимать лишний шум. А почему? Потому что Фрейд так думает. Или, больше того, что нормальная девушка не должна испытывать недовольства, когда ее обхаживают. Это как бы само собой разумеется. Рассматривая то, что находим мы в *Доре*, под определенным углом, важно уметь увидеть, какую роль играет здесь фактор, который только что я назвал предрассудком.

При всем том, что в тексте этом содержится немало ориентиров, в применении которых я пытаюсь вас натренировать, вы сами увидите, что слово *окольные*, которое я только что произнес, сорвется с языка, того и гляди, и у вас самих. Исключительная тонкость и хитроумие тех превращений, многочисленные грани которых, где преломляются, через три или четыре последовательных линий защиты, любовные маневры Доры, Фрейд разбирает, возможно напомнят вам, по ассоциации с тем, на что Фрейд в *Толковании сновидений* указывает, что *околесица* эта обусловлена определенным подходом.

Имея в виду то, что я сегодня в начале занятия сказал об отце, то есть тот факт, что его означающая артикуляция, заданная субъективным стечением обстоятельств, приобретает своего рода объективные черты, почему бы не попробовать взять за основу тот факт, что отец Доры, ключевая для этого приключения, или злоключения, фигура, является, собственно говоря, если говорить о его мужской силе, кастрированным? Совершенно очевидно, что он смертельно устал, что он болен.

Во всех случаях Фрейда, начиная с *Исследования истерии*, отец оценивается как символическая фигура. В конце концов, пусть даже больной или умирающий, он остается отцом. Рассматривать его как несостоятельного по отношению к функции, которую он не выполняет, и означает как раз придавать ему символическое достоинство. Это подразумевает, что отец это не просто отец, что это своего рода титул, наподобие *ветерана войны* – своего рода *ветеран-производитель*. Подобно старому солдату, он остается отцом до конца своих дней. Это подразумевает, что в слове *отец* всегда заключена некая творческая потенция. Именно в связи с этим нужно заметить, что в символическом поле отец, играя в дискурсе истерички ключевую, главную, господствующую роль, оказывается тем самым, кто, даже будучи несостоятелен, способен, под углом зрения творческой потенции, свою позицию по отношению к женщине сохранить. Именно этим характеризуется роль, определяющая отношение истерической больной к отцу – ей-то как раз и дали мы имя идеализированного отца.

Я уже сказал, что вокруг да около ходить не стану – я возьму случай Доры и попрошу вас после занятия перечитать его и убедиться, что я был прав. Обратимся к г-ну К., которого я назову здесь, как это ни покажется странным, третьим мужчиной – что, и почему, устраивает в нем Дору?

Я уже не раз говорил об этом, но почему бы не вернуться к этому заново, воспользовавшись тем структурным определением, которое мы, используя понятие дискурса господина, способны дать? Что устраивает Дору, так это мысль о том, что у него имеется орган.

Это Фрейд замечает. Именно это, как он указывает, игра-

ет главную роль в первой встрече, в первом столкновении, так сказать, Доры с г-ном К., когда ей было четырнадцать лет, и он зажал ее в дверном проеме. На отношениях между двумя семьями это никак не сказалось. И вообще никто не видит в этом ничего удивительного. Девушка, говорит Фрейд, должна из подобного положения выходить сама. Интересно другое – интересно как раз то, что сама она выйти из него не смогла, что она впутала в это дело всех, только произошло это уже позже.

Но зачем нужен третий мужчина? Конечно же, это орган придает ему ценность, но нужен он не для того, чтобы осчастливить Дору, а для того, чтобы другая его этого органа лишила.

Дору интересует вовсе не драгоценность, даже нескромная. Вспомните о наблюдении, которое продолжалось три месяца и служило единственной цели – стать чашечкой, из которой вырастают, как жёлуди, два сновидения. Первое из них, то, где фигурирует шкатулка с драгоценностями, об этом как раз и свидетельствует – единственным предметом ее наслаждения служит не драгоценность, а оболочка бесценного органа, сама шкатулка.

И ей прекрасно известно, как можно извлечь из нее наслаждение самостоятельно. Именно об этом говорит решающее значение, которое имела для нее детская мастурбация – какого рода была эта мастурбация, наблюдения не говорят, хотя, вероятнее всего, она как-то была связана с плавными, текучими, я бы сказал, процессами, моделью которых является энурез. Мы знаем, что энурез появился у нее позже под влиянием ее брата, который, будучи на полтора года старше ее, заболел в возрасте восьми лет энурезом, эстафету которого она у него впоследствии примет.

Энурез этот очень характерен, будучи стигматом, так сказать, воображаемой замены отца, именно в качестве отца бессильного, его сыном. Я призываю в свидетели всех, кто в своем опыте работы с детьми с подобным эпизодом встречался – в таких случаях обращения к аналитику весьма часты.

Сюда следует добавить и умозрительное, если можно так выразиться, созерцание г-жи К., которому предается Дора

перед Дрезденской Мадонной. Госпожа К. является в ее глазах той, кто не только умеет поддержать желание идеализированного отца, но и, вдобавок, имеет то существенное, чем на него можно ответить, лишая одновременно этого саму Дору, которая оказывается, таким образом, обделенной вдвойне. Вот почему комплекс этот говорит об идентификации с наслаждением – постольку, поскольку наслаждение это является наслаждением господина.

Маленькое отступление. Напомнить об известной аналогии между энурезом и стремлением к успеху, конечно, небесполезно. Но условие, которому подчиняется выбор г-ном К. своего подарка, остается неизменным – это обязательно должна быть шкатулка. Он дарит ей не что-нибудь другое, а именно шкатулку для драгоценностей. Потому что драгоценность – это она сама. Его собственная драгоценность, нескромная драгоценность, как я только что выразился – она хранится в другом месте, пусть все это знают. Откуда и разрыв, на значение которого я давно обратил внимание, – разрыв, который происходит после того, как г-н К. говорит Доре: *Моя жена ничего для меня не значит*. В этот момент наслаждение Другого действительно предлагается ей, но она не хочет его, ибо то, чего она хочет – это знание как средство наслаждения. Но знание это нужно ей для того, чтобы поставить его на службу истине, истине господина, которую она, Дора, воплощает в себе.

А состоит эта истина, скажу наконец, в том, что господин кастрирован.

И в самом деле, если единственное наслаждение, способное дать представление о счастье, наслаждение, которое я определил в прошлый раз как замкнутое, как наслаждение фаллоса, имело бы над ним, господином, власть – обратите внимание, на термин, которым я пользуюсь: взять власть господин не может, не исключив, – каким образом удалось бы господину вступить со знанием – знанием, что принадлежит рабу – в отношения, выгода которых в извлечении избыточного наслаждения? Господин не может взять власть над этим последним, его, этого фаллического наслаждения, не исключив.

Что касается второго сновидения, то и оно дает знать, что

символический отец является отцом мертвым и что доступ к нему можно получить только из места пустого и изолированного. Вспомните структуру этого сновидения и то, как реагирует Дора на слова матери: *Приходи, если хочешь,* – говорит мать, словно вторя тому, что предложила Доре в другой момент г-жа К., позвавшая ее туда, где разыгралась между Дорой и мужем этой дамы та драма, о которой мы только что говорили: *Приходи, если хочешь, твой отец мертв и его предают земле.* Вспомните и то, как Дора идет туда – идет, так и не узнав в сновидении, каким образом удалось ей добраться до места, где она должна спрашивать, словно она не знает этого, там ли действительно жилище ее отца.

И там, в пустой шкатулке жилища, покинутого теми, кто, пригласив ее, удалились на кладбище, Дора легко находит отцу замену в огромной книге, в словаре, где можно прочесть о том, что имеет отношение к полу. Тем самым она дает знать, что важно для нее, даже после смерти отца, лишь то знание, которое он способен ей дать. Речь идет не о знании вообще, неважно каком – речь идет о знании истины.

Именно этим она в анализе удовольствовалась. Дора вполне удовлетворяется тем, что истина, к которой Фрейд бережно ее подводит – чем он так ее к себе и привязывает – становится достоянием всех. Картина отношений ее отца с г-жой К., ее собственных отношений с г-ном К., то, что в эпизодах, действительно имевших место, где она была главной участницей, другие пытались предать забвению, – все это говорило теперь само за себя, и этого ей довольно было, чтобы завершить с достоинством свой анализ, хотя Фрейд, похоже, так и остался недоволен его исходом, имея в виду женскую ее судьбу.

## 3

По ходу дела я позволю себе несколько маленьких замечаний, которые окажутся не напрасными.

Так, по поводу сновидения о драгоценностях, где Дора должна уходить под угрозой пожара, Фрейд, отвлекаясь от

своего анализа, говорит нам, что для устойчивости сновидению мало представлять решение или сильное желание, которое субъект испытывает в настоящем, оно должно найти себе опору в желании из раннего детства. И тут, говоря об этом, он берет в качестве примера – для красного словца, как считают – управляющего, который принимает решения, и его отношения с капиталистом, ресурсы которого, накопленный капитал либидо, позволяют это решение провести в жизнь.

Это принимают за простую метафору. Но разве не занятно убедиться, насколько иначе это выглядит в свете того, что я сказал вам о взаимосвязи капитализма с дискурса господина? О совершенно особом характере всего того, что может произойти с процессом накопления в присутствии избыточного наслаждения? О роли наличия этого избыточного наслаждения в исключении того простого, доброго, старого наслаждения, которое получают путем обычного совокупления? Не здесь ли черпает детское желание свою силу – силу накопления в отношении объекта, составляющего причину желания, накопления либидо, происходящего именно в силу детской незрелости, в силу исключения того наслаждения, которое для других выступает как норма? Вот что дает метафоре Фрейда, когда он говорит о капиталисте, новый, неожиданный поворот.

Но успех Доры, которым она обязана трезвому здравомыслию Фрейда, не в меньшей степени обнаруживает и ту неловкость, с которой пытается он ее удержать.

Прочтите те несколько строк, где Фрейд, невольно, в каком-то смысле, выдает свое смущение, столь волнующее и трогательное, упрекая себя в том, что не проявил к пациентке достаточно интереса – при том, что все наблюдения его, Бог свидетель, говорят об обратном, – что он мог бы довести дело до успешного конца, сумей он продолжить свою работу еще немного – работу, которую, по собственному его признанию, нельзя назвать безошибочной.

Но Фрейд, слава Богу, работу до конца не довел. Удовлетворив Дору в том, что ощущает он как ее требование, требование любви, он не занял, к счастью, как это обычно делается, место матери. Ибо ясно одно – разве не

этому опыту, оказавшему влияние на весь образ действия Фрейда в дальнейшем, обязаны мы тем фактом, от которого, как он сам констатировал, у него безнадежно опускаются руки, – тем фактом, что вся его работа с истерическими больными упирается в то, что называет он *Penisneid*? Это означает, другими словами, что все упирается в недовольство девочки, упрекающей мать, что та не родила ее мальчиком, то есть в перенесении на мать, в форме фрустрации, того, что сообщает дискурсу истерика в связи с дискурсом господина его место и роль и раздваивается, по значащей сути своей, на кастрацию идеализированного отца, выдающего секрет господина, с одной стороны, и лишение, усвоение себе субъектом, будь то женщина или мужчина, наслаждения своим лишением, с другой.

Почему же Фрейд совершил здесь ошибку, хотя, судя по моему сегодняшнему анализу, ему оставалось лишь взять то, что просилось ему в руки само? Почему знание, полученное от Анны, Эммы, Доры, всех этих поистине бесценных свидетелей, подменяет он этим мифом – эдиповым комплексом?

Эдип играет роль знания, претендующего на истину, то есть знания, занимающего на схеме дискурса аналитика место, которое я только что назвал местом истины.

$$\frac{a}{S_2} \rightarrow \frac{\$}{S_1}$$

Если все психоаналитическое истолкование сосредоточилось вокруг вопроса о том, насколько нужно потакать или не потакать требованию, отвечать или не отвечать на него; к все более явному отступлению в сторону требования с позиций диалектики желания, метонимического скольжения, неизбежного, когда необходимо обеспечить постоянство объекта, то произошло это потому, что эдипов комплекс, строго говоря, оказывается неприменим. Странно, что к этому выводу не пришли раньше.

И в самом деле, какое место занимают в анализе ссылки на этот пресловутый комплекс, кто им действительно пользуется? Я хочу, чтобы все, кто являются здесь аналитиками, мне ответили. Те, кто принадлежат Институту, не пользу-

ются им, разумеется, никогда. Те, кто относит себя к моей школе, слабые попытки делают. Но это, конечно же, ничего не дает, результат оказывается тот же, что и у прочих. Пользоваться им, строго говоря, нельзя – в лучшем случае, он напоминает о значении матери как препятствия любой нагрузке объекта в качестве причины желания.

Откуда и головокружительные построения, к которым прибегают аналитики, изобретая то, что называют они *комбинированным родителем*. Сводятся они все к одному и тому же – к конструированию того *A*, таящего в себе наслаждение, которого называют обычно Богом и с которым имеет смысл, поставив на карту избыто(чно)е наслаждение, сыграть, той инстанции, одним словом, которая функционирует в качестве так называемого сверх-Я.

Я вас сегодня положительно балую. Этого последнего слова я до сих пор не произносил. У меня на то были свои причины. Чтобы сказанное мною в прошлом году о пари Паскаля могло стать действенным, нужно было прийти к тому, к чему мы с вами пришли.

Некоторые из вас, может быть, догадались уже, что сверх-Я – это и есть то самое, о чем шла у нас речь, когда я объяснял вам, что жизнь, та временная жизнь, которая ставится на карту ради шанса на жизнь вечную, это не что иное, как *a*, но что смысл это имеет лишь при условии, если *A* не заграждено чертой, то есть, другими словами, если оно является сразу всем. Однако поскольку комбинированного родителя не существует, а есть мать с одной стороны и отец с другой, поскольку субъекта тоже не существует, поскольку он тоже расколот надвое, несет на себе знак черты, поскольку именно таков, одним словом, ответ, на который любое высказывание, согласно моему графу, может рассчитывать, возможность играть с вечной жизнью на ставку избыто(чно)го наслаждения выглядит проблематичной.

Это обращение к эдипову мифу действительно потрясает. Над этим стоит подумать. Я как раз собирался дать вам понять сегодня, насколько поразителен тот факт, например, что в последней из *Новых лекций о психоанализе* Фрейд явно уверен, будто вопрос об окончательном изгнании ре-

лигии за пределы любых приемлемых представлений положительно им решен, будто психоанализу принадлежит в этом решающая роль и будто в деле этом можно поставить точку, сказав, что религия зиждется на фигуре отца – отца, к которому прибегает ребенок в детстве, о котором он знает, что тот исполнен любви к нему, хранит его, предотвращает малейшие проявления недомогания и неудобства.

Не странным ли кажется это в свете того, что мы с вами о функции отца знаем? Но это не единственный парадокс, который мы находим у Фрейда – что сказать, например, о пресловутом удовлетворении всех женщин, и это при том, что отца хватает в лучшем случае на одну единственную, да и на этот счет лучше, на всякий случай, не слишком хвастаться? У отца с господином – господином в том виде, в котором мы его знаем, в котором он реально функционирует – родство самое отдаленное, так как в обществе, с которым Фрейд имеет дело, именно он, отец, работает на всех остальных. На нем лежит груз той *famil*, о которой я только что говорил. Не странно ли внушать нам после этого, будто то, что Фрейд на деле, даже если не намеренно, сохраняет, и есть то самое, в чем он видит субстанцию всех религий, – идея безраздельно любящего отца? Не случайно из трех форм идентификации, выделяемых им в только что упомянутой мной работе, первой является именно эта: отец есть любовь и первое, что в этом мире предстает как предмет любви – это отец. Странный пережиток, не правда ли? Фрейд полагает, будто нанес религии смертельный удар, в то время как его причудливый миф об отце сохраняет то, что составляет самую суть религии.

Мы вернемся к этому. Но болевая точка вопроса уже становится вам видна – все это упирается в идею убийства, в идею о том, будто фигура первоначального отца воплощена в том, кого убили собственные сыновья – на основе любви к этому мертвому отцу и устанавливается затем в обществе определенный порядок. В своих противоречиях, в своей барочной избыточности, конструкция эта представляется не чем иным, как попыткой защиты против тех истин, о которых единогласно свидетельствовало все изобилие созданных человечеством мифов – свидетельствовало задолго до

того, как Фрейд, облюбовав для себя один-единственный миф, миф об Эдипе, эти истины сузил. Что же, собственно, так необходимо ему скрывать? А то, что, вступив в поле дискурса господина, в котором мы уже почти разобрались, отец оказывается с самого начала кастрирован.

Вот оно, то, чему Фрейд придал идеализированную форму и что он попытался тщательно утаить. Работа с истерической больной, если не сами слова ее, то, по крайней мере, конфигурации, которые на их основе выстраивались, послужили бы ему лучшим путеводителем, нежели эдипов комплекс, наведя, возможно, на мысль о том, что все, имеющее отношение к знанию, необходимо, на уровне самого анализа, пересмотреть – только после этого будем мы вправе задаться вопросом об этом знании с позиций истины.

Вот она, цель, к которой ведут нас те размышления, что мы с вами в этом году развиваем.

*18 февраля 1970 года.*

# VII
# ЭДИП С МОИСЕЕМ И ОТЕЦ ПЕРВОБЫТНОЙ ОРДЫ

*Знание господина в чистом виде.*
*Недуг неучей.*
*Генеалогия прибавочной стоимости.*
*Поле глупости.*
*Эдип, сновидение Фрейда.*

Пытаясь сформулировать для вас, что такое дискурс аналитика, я исходил из того, с чем он очевидно имеет немало родственных черт – из дискурса господина.

Значение анализа обусловлено тем, что истина дискурса господина замаскирована.

## 1

Охарактеризовать место, которое я обозначил как место истины – одну из тех четырех позиций, где располагаются артикуляционные элементы, на которых зиждется непротиворечивость моего построения, очевидная лишь тогда, когда дискурсы эти приведены во взаимодействие, – можно лишь присмотревшись внимательнее к функционированию того, что обнаруживается, будучи на этом месте артикулировано. Это не является особенностью данного места – то же самое можно сказать и о прочих.

Простая локализация, состоявшая в обозначении этих мест как *верхнего справа* или *верхнего слева*, не может, естественно, нас устроить. Речь идет об уровне эквивалентности в их функционировании. Можно сказать, например, что $S_1$ в дискурсе господина может быть конгруэнтно, или эквивалентно, тому, что функционирует как $S_2$ в университетском дискурсе, то есть в том, что я, пытаясь как-то вашу

мысль на правильный лад настроить, так охарактеризовал.

$$M(S_1) \approx U(S_2)$$

Место, о котором идет речь, функционирует, скажем так, в качестве места команды, веления, в то время как место, которое располагается в моих маленьких четвероногих схемках под ним, это место истины, и с ним связаны свои собственные проблемы.

На уровне дискурса господина место наверху слева может принадлежать – что, на первый взгляд, может показаться, откровенно говоря, произвольным – исключительно $\$$, тому, что на первом этапе не полагает себя безмятежно себе тождественным. Можно сказать, что принцип господствующего, дискурса, *ставшего господином* (maîtr-ise), состоит в его вере в собственную однозначность.

Шаг вперед, сделанный психоанализом, состоит, разумеется, в том, что для него субъект уже не является однозначным. Два года назад, пытаясь сформулировать, что такое психоаналитический акт – проект, так и оставшийся неосуществленным и к которому мне, как и ко многим другим, уже не вернуться, – я предложил вам четкую формулу – *я или не мыслю, или не есть*. Альтернатива эта, стоит к ней обратиться, окажется теме дискурса господина очень созвучной.

К тому же, чтобы обосновать ее, стоит, наверное, обратиться к ней там, где очевидность ее не вызывает сомнений. Чтобы стало ясно, что субъект действительно находится перед лицом того *vel*, которое находит свое выражение в формуле *я или не мыслю, или не есть*, необходимо, чтобы формула эта сама заняла господствующее место – и происходит это в дискурсе истерика. Там, где я мыслю, я не узнаю себя, там меня нет – вот оно, бессознательное. Там, где я есть, слишком светло, чтобы заблудиться.

На самом деле, посмотрев на вещи таким образом, видишь, что если на уровне дискурса господина это оставалось столь долго незаметным, то оттого лишь, что сама структура этого места разделение субъекта обязательно маскирует.

Разве не говорил я вам, какое высказывание способно занимать место истины? Истина, говорил я, обязательно недосказана, и в качестве модели этого я привел вам загадку. Потому что истина всегда предстает нам именно так, а вовсе не как вопрос. Загадка – это то, на что мы должны ответить под угрозой неминуемой смерти. А вопросом об истине задаются, как давно всем известно, только администраторы. *Что есть истина?* – мы хорошо знаем, из чьих уст этот вопрос слышали.

Но одно дело та форма недосказанности, в которой истина вынуждена выступать, а совсем другое – то разделение субъекта, которое этим обстоятельством пользуется, чтобы себя не выдать. Разделение субъекта – это совершенно иное дело. Если *там, где он не есть, он мыслит*, если *там, где он не мыслит, он есть,* то оттого, ясное дело, что он есть и там и тут. Я бы сказал даже, что для *Spaltung* это определение непригодно. Субъект причастен Реальному в том, что Реальное, по-видимому, невозможно. Используя образ, подвернувшийся мне чисто случайно, можно сказать, что дело с субъектом обстоит точно так же, как с электроном, описываемым одновременно волновой и корпускулярной теориями. Мы вынуждены признать, что один и тот же электрон одновременно проходит через два удаленных друг от друга отверстия. Поэтому то, что мы имеем в виду, говоря о расщеплении, *Spaltung*, субъекта, представляет собой явление иного порядка по сравнению с тем, в силу чего истину невозможно представить себе иначе, как недосказанной.

Есть нечто важное, что нужно здесь подчеркнуть. В силу самой амбивалентности этой – воспользуемся здесь вновь этим словом, но уже в несколько другом смысле – в силу амбивалентности, не позволяющей представить себе истину иначе, как недосказанной, каждая из формул, в которых записаны наши дискурсы, принимает значения в высшей степени противоположные.

$$\frac{S_2}{S_1} \rightarrow \frac{a}{\$}$$

Хорош этот дискурс, или же плох? Я нарочно назвал его университетским, потому что именно университетский

дискурс показывает нам, в чем он может погрешать, но это, к тому же, тот самый дискурс, сама базовая структура которого демонстрирует то, на чем зиждется дискурс современной науки.

$S_2$ занимает в нем господствующее место – знание пришло на место веления, заповеди, на то место, что первоначально занимал господин. Но почему именно господствующее означающее оказывается на уровне истины – господствующее означающее, призванное нести повеление господина?

Именно этим обусловлено направление, которое приняла современная наука после некоторых колебаний, заметных еще у Гаусса, например, из записей которого нам известно, что он вплотную подошел к открытиям, сделанным впоследствии Риманом, но так и не решился свои результаты предать огласке. *Слишком далеко заходить не стоит* – зачем вводить в оборот знание, пусть даже чисто логического порядка, если оно способно поколебать определенные устои?

Ясно, что теперь времена другие. И связано это с прогрессом, с тем поворотом на одну четверть, который предоставляет господство знанию, смещенному со своего исконного места на уровне раба и ставшему чистым знанием господина, знанием, ему целиком подведомственным.

В наше время ни у кого и мысли не придет остановить процесс артикуляции научного дискурса на том основании, что это не приведет к добру. Дело теперь, Бог видит, обстоит именно так. Мы уже проделали путь от молекулярной структуры к расщеплению атома. Кому придет в голову, что можно остановить то, что, опираясь на игру знаков, на отвлеченную от содержания чистую комбинаторику, настоятельно требует поверить теоретические выкладки Реальным и, обнаружив невозможное, сделать его источником невиданного могущества?

Невозможно ослушаться повеления, которое оттуда, с места того, что является истиной науки, исходит – *Продолжай! Иди вперед, к новым знаниям!*

Именно в силу этого знака, в силу того, что знак господина занимает именно это место, любой вопрос об истине оказывается под спудом, и, в частности, любой вопрос о

том, что за ним, знаком $S_1$, заповедью *продолжай узнавать*, может скрываться, о той тайне, которую знак этот, занимая это место, скрывает, о том, что он, знак, занимающий это место, собой представляет.

В области наук, осмеливающихся именоваться гуманитарными, заповедь *продолжай узнавать* вызвала на наших глазах немалую суматоху. Здесь, как и во всех прочих моих четвероногих схемах, работает, как всегда, то, что стоит сверху справа – работает для того, чтобы воссияла истина, потому что смысл работы именно в этом. В дискурсе господина это место занимает раб, в дискурсе науки – это *a*, ученик.

С этим словом можно немножко и поиграть, возможно, это позволило бы взглянуть на вопрос с неожиданной стороны.

В настоящее время он, студент, вынужден продолжать познание в плане физических наук. В плане наук гуманитарных мы наблюдаем, между тем, нечто такое, для чего следовало бы применить новое слово. Я не знаю еще, насколько удачно вот это, но я тем не менее на вскидку, по интуиции его предлагаю – *неуч*.

Надеюсь, со словом этим мне повезет больше, чем со словом *serpillière, половая тряпка*, которое я предложил в свое время использовать вместо фамилии *Flacelière*. Слово *неуч* больше подходит для наук гуманитарных. Ученик чувствует себя *неучем*, так как он, как и всякий другой работник – поглядите на три остальные схемы, – должен произвести какой-то продукт.

То, что я говорю, вызывает реакции, которые с этой позицией связаны. Хоть и редко, но время от времени это случается, что доставляет мне немалое удовольствие. Когда я начал преподавание в Нормальной школе, молодежь проявила активный интерес к обсуждению субъекта науки, который я сделал предметом первого занятия своего семинара 1965 года. Но при всей актуальности этого предмета, ясно, что это еще не все. Студентов немного обескуражили, объяснив им, что субъекта науки не существует, причем в тот самый момент, когда они готовы были приветствовать его появление в отношениях между нулем и единицей у Фреге. Им показали, что прогресс математической логики позво-

лил субъект науки полностью аннулировать – не наложить на него швы, а, наоборот, испарить.

Несчастье неучей заключается, однако, отчасти, в том, что им предлагается, тем не менее, восстановить субъект науки в собственной шкуре, что, судя по последним известиям, создает в зоне гуманитарных наук некоторые трудности. Таким образом, для науки, столь прочно укорененной, с одной стороны, и делающей столь триумфальные успехи – достаточно триумфальные, чтобы называться гуманитарной, потому, конечно же, что людей она рассматривает не иначе как гумус, – с другой, происходят вещи, которые возвращают нас с небес на землю и позволяют осязаемо почувствовать, что происходит, когда на уровне истины фигурирует заповедь в чистом виде, заповедь господина.

Не подумайте только, будто какой-то господин там остался. Там осталась лишь заповедь, категорический императив, гласящий – *продолжай познавать!* Вовсе не требуется, чтобы там кто-то был. Мы все, как говорил Паскаль, поднялись на борт дискурса науки. Недосказанность остается, однако, в своих правах, так как в вопросе о субъекте гуманитарных наук ни малейшей ясности, очевидно, нет.

Я хотел бы заранее предостеречь вас от мысли, которая может у какого-нибудь ретрограда возникнуть, будто из речей моих следует, что прогресс науки необходимо затормозить, вернувшись к сомнению Гаусса, откуда брезжит нам якобы надежда спасения. Приписав мне подобные выводы, вы выставили бы меня отъявленным реакционером. Я заранее их озвучиваю, так как в определенной среде, вращаться в которой я, честно говоря, не склонен, то, что я говорю, действительно может к подобным недоразумениям подать повод. Необходимо, однако, проникнуться той мыслью, что все, что я говорю, направлено на одно – достичь ясности. Ни о каком прогрессе, в смысле счастливого выхода из положения, у меня речи нет.

Возникая, истина действительно порой разрешает дело счастливым образом, но в других случаях она гибельна. Я не знаю, почему истина должна непременно идти на пользу. Чтобы такое подумать, нужно быть поистине одержимым, так как все вокруг говорит об обратном.

## 2

Если говорить о так называемой позиции аналитика – случай маловероятный, так как неизвестно еще, есть ли они, аналитики, вообще, хотя гипотетически наличие их можно предположить – на место заповеди заступает объект *a* собственной персоной. Именно идентифицировавшись с объектом *a*, то есть с тем, что предстает субъекту в качестве причины его желания, аналитик предлагает себя в психоанализе, этом безумном предприятии – безумном, ибо оно пускается по следу желания знать, – как мишень.

Я уже в самом начале сказал, что желание знать, или, как придумали его называть, *эпистемологическое влечение*, не существует само по себе. Нужно разобраться в том, откуда оно возникает. Как я уже говорил, господин не придумал этого сам. Кто-то должен был ему это внушить. Это вовсе не психоаналитик, которого, Бог видит, надо бывает еще поискать. Психоаналитик больше ничего не внушает, он предлагает себя в качестве мишени чему-то такому, в чем застряло жало этого самого проблематичного из желаний.

Мы к этому в дальнейшем вернемся. А покуда отметим, что структура пресловутого дискурса аналитика говорит субъекту – взгляните на схему – примерно следующее: *Не стесняйтесь, говорите все, что приходит вам в голову, как бы плохо это ни вязалось друг с другом, как бы очевидно не становилось при этом, что вы или не думаете, или не существуете вовсе, все сгодится, все, что бы вы ни сказали, только приветствуется.*

$$\frac{a}{S_2} \rightarrow \frac{\$}{S_1}$$

Странно, правда? Странно по причинам, которые нам придется разобрать подробнее, но набросать которые мы можем уже сейчас.

Как вы уже видели, на верхнем этаже структуры дискурса господина записаны отношения, имеющие основополагающее значение, – те отношения, что связывают господина с рабом. Посредством их, *dixit* Гегель, раб со временем про-

демонстрирует ему свою истину и посредством их же, *dixit* Маркс, суждено ему все это время трудиться, чтобы не дать очагу избыточного наслаждения угаснуть.

Но почему должен он, собственно, его, это избыточное наслаждение, господину отдать? Здесь явно кроется какой-то секрет. У Маркса завуалированным оказывается то, что господин, которому это избыточное наслаждение причитается, заранее от всего, и в первую очередь от наслаждения, отказался – отказался, поскольку рискнул своей жизнью и остался в этом рискованном положении, как ясно у Гегеля об этом сказано, навсегда. Да, он лишил раба права распоряжаться собственным телом, но это сущий пустяк – ведь наслаждение он оставил ему.

Каким образом оказывается, что наслаждение предъявляет-таки господину свои требования? Я, по-моему, как-то раз это вам уже объяснял, но важные вещи не худо и повторить. Господин делает в данном случае какое-то усилие, необходимое, чтобы дела шли своим чередом. Другими словами, он отдает команды. Но выполняя свою функцию господина, он что-то при этом теряет. И хотя бы в силу этой утраты что-то ему должно быть возвращено – это как раз избыточное наслаждение и есть.

Если бы он, в своем ожесточенном стремлении подвергнуть себя кастрации, это избыточное наслаждение не обратил в деньги, если бы он не сделал его тем самым прибавочной стоимостью, то есть не построил бы, другими словами, капитализм, Маркс, безусловно, заметил бы, что прибавочная стоимость – это избыточное наслаждение и есть. Но так или иначе, капитализм был построен, и функция прибавочной стоимости в полной мере обнаружила свои губительные последствия. Тем не менее, чтобы окончательно в этих последствиях разобраться, не худо было бы выяснить, при каких обстоятельствах заявила она о себе впервые. И мало, как оказалось, национализировать средства производства в пределах отдельно взятой социалистической страны – мы все равно не покончим с ней, пока не узнаем, что она собой представляет.

В дискурсе господина – а избыточное наслаждение получает свое место, что ни говорите, именно там – отсутству-

ет какая бы то ни было связь между тем, что станет в той или иной степени причиной желания господина, этого типа, который ничего в таких вещах обычно не понимает, с одной стороны, и тем, что представляет собой его истину, с другой. По сути дела, здесь, на нижнем этаже, между ними глухая преграда.

$$\frac{a}{S_2} \rightarrow \frac{\$}{\blacktriangle S_1}$$

Преграде этой на уровне дискурса господина мы вполне способны дать имя – это наслаждение, хотя бы потому, что оно, наслаждение это, в сущности запрещено. Получают его разве что урывками – ведь я уже говорил вам, во что это выльется, если в нем идти до конца, так что возвращаться к этим смертоносным фантазмам мы здесь не станем.

Интерес этой содержащей определение дискурса господина формулы состоит в том, что только в ней налицо невозможность того сочленения, которое в другом месте характеризовало у нас фантазм, связь *a* с разделением субъекта – $(\$ \lozenge a)$.

Дискурс господина в основе своей фантазм заведомо исключает. Именно это и делает его, в сущности, совершенно слепым.

Тот факт, что в других дискурсах, в особенности в дискурсе аналитическом, где он располагается вполне уравновешенным образом на горизонтальной линии, фантазм может найти себе выход, проливает на основы дискурса господина дополнительный свет.

Как бы то ни было, но вернувшись на уровень дискурса аналитика, приходится констатировать, что именно знание, то есть вся наличная артикуляция $S_2$, все, что только можно узнать, занимает у меня в формуле позицию истины. Все, что поддается познанию, призвано в дискурсе аналитика функционировать в регистре истины. Мы чувствуем, что это интересует нас. Но что это может значить? Не случайно сделал я небольшое отступление, заговорив о современном положении дел. Малотерпимость – скажем так, по отношению к той бешеной скачке, что знание в так называемой научной форме, то есть современное знание, приняло, – вот

что, даже если мы не способны разглядеть ничего дальше своего носа, может навести нас на мысль, что если рассмотрение знания в качестве истины и получит какой-то смысл, то исключительно благодаря нашей маленькой схеме-вертушке – при условии, конечно, что мы ей доверимся.

Именно поэтому, кстати говоря, я был прав, например, обещав, когда я начал было говорить об именах отца и мне тут же заткнули рот, что к этой теме я больше никогда не вернусь. Я понимаю, что это звучит невежливо, вызывающе. И как знать, найдутся, может быть, люди, фанатики науки, которые скажут мне: Ты говоришь *продолжай познавать*, но тогда ты должен сказать нам, что ты об именах отца знаешь. Нет, я не стану говорить об именах отца, и не стану именно потому, что не имею отношения к университетскому дискурсу.

Я всего-навсего маленький аналитик, отброшенный камень, даже если в анализах я становлюсь камнем краеугольным. Как только я поднимаюсь с кресла, у меня появляется право пойти отдохнуть. Роли меняются – отверженный камень ложится во главу угла. Но бывает и наоборот – краеугольный камень отправляется отдыхать. Именно в этом смысле у меня, возможно, есть шансы на какие-то изменения. Если вынуть краеугольный камень, рухнет все здание. Некоторых привлекает подобная перспектива.

Но довольно шуток. Я просто не понимаю, что разговор об имени отца мог бы нам дать, поскольку там, где он ведется, то есть на уровне, где знание функционирует в качестве истины, мы так или иначе обречены на невозможность на эту, еще расплывчатую для нас тему отношений между знанием и истиной, высказать что-либо, что не носило бы на себе черты недосказанности.

Я не знаю, чувствуете ли вы, что из этого следует. Это значит, что если мы в этой области каким-то образом высказываемся, то у сказанного обязательно окажется другая сторона, которая именно в силу высказывания этого станет абсолютно неразличимой, совершенно необъяснимой. Так что в конечном итоге можно выбрать, о чем говорить, и в выборе этом есть определенная произвольность. Если я не говорю об имени отца, это позволяет мне говорить о чем-то

другом. Это другое тоже будет иметь отношение к истине, но совсем не то же, что у субъекта – здесь все иначе.

Это было небольшим отступлением.

## 3

Вернемся к тому, что происходит со знанием на месте истины – месте, которое занимает оно в дискурсе аналитика.

То, на что я вам сейчас открою глаза, прозвучит, мне кажется, для вас неожиданностью. Но вы наверняка помните, так или иначе, что исконный держатель этого места имеет имя – это миф.

Чтобы увидеть это, не обязательно было дожидаться того момента, когда дискурс господина достигнет полного своего развития, обнаружив свою суть в причудливом совокуплении дискурса капиталиста с наукой. Это было очевидно всегда – и, во всяком случае, только это и бросается нам в глаза, когда речь заходит об истине, о первой истине, по меньшей мере, о той, что, как-никак, немного интересует нас, хотя наука и заставляет нас от этой истины отказаться, предлагая взамен лишь императив *продолжай познание в определенной области* – в области, как ни странно, которая к тому, что тебя, маленького человека, волнует, прямого отношения не имеет. Итак, место это занимает миф.

В наши дни миф успел стать разделом лингвистики. Я лишь хочу сказать, что самое серьезное, что можно сегодня о мифе услышать, опирается на лингвистику.

В связи с этим я не могу не посоветовать вам обратиться к одиннадцатой главе *Структурной антропологии*, сборника статей моего друга Леви-Стросса, – к главе, посвященной структуре мифов. Вы увидите, что в ней проводится та самая мысль, которую вы только что услышали от меня – мысль о том, что истина держится только на недосказанности.

Первое же серьезное исследование тех единств, как он их называет, или мифем, приводит к следующему результату – Леви-Стросс за то, что я скажу, не в ответе, так как я его тексту буквально не следую. Невозможность найти со-

ответствие между группами связей – пакетами связей, как он определяет мифы – преодолевается, или, скажем так, заменяется, утверждением, что две противоречивые связи оказываются идентичны ровно в той мере, в которой каждая из них, противоречит, как и другая, самой себе. Другими словами, недосказанность является внутренним законом любого истинного высказывания и лучше всего воплощается это в мифе.

Можно, конечно, выразить свое недовольство тем, что мы остаемся в психоанализе на уровне мифа. Знаете ли вы, как отнеслись специалисты по мифологии к тому, как использовал психоанализ центральный, типичный для него миф, миф об Эдипе? Я думаю, что на вопрос этот вы все легко ответите. И это весьма занятно.

Есть люди, которые занимаются изучением мифов очень давно. И не нужно было дожидаться моего друга Леви-Стросса, который внес в это дело исключительную ясность, чтобы функцией мифа живо интересоваться. Существует среда, где все прекрасно знают, что такое миф, несмотря на то, что его вовсе не обязательно понимают именно так, как я только что попытался вам его очертить – хотя, с другой стороны, трудно представить себе, чтобы даже тупица не сумел разглядеть, что все, что можно сказать о мифе, сводится к тому, что истина является в нем в виде чередования прямо противоположных вещей, что необходимо поворачивать их друг относительно друга. И это относится ко всему, что было выработано с тех пор, пока стоит мир, вплоть до таких, тонко разработанных мифов высшего порядка, как миф о Инь и Янь.

О мифе можно наговорить много глупостей, потому что это область глупостей по преимуществу. А глупости, как я вам всегда говорил, они и есть истина. Это одно и тоже. Истина – она позволяет говорить что угодно. Все истинно – при условии, что вы исключите противное. Но то, что дело обстоит так, остается не без последствий.

Так вот, для тех, кто не знает, скажу, что значение, которое Фрейд придает эдипову мифу, для специалистов по мифам просто смешно. Все это представляется им совершенно неуместным.

Откуда та привилегия, которую миф в анализе получает? Первое же серьезное исследование, которое было на эту тему проделано, показало, что дело обстоит куда сложнее. В той же статье Клод Леви-Стросс, который не боится обвинения в голословности, приводит полную версию эдипова мифа. И сразу становится видно, что речь в нем идет совсем не о том, ложиться с матерью в постель или нет.

Тем не менее занятно, к примеру, что такой солидный, умный, хорошо образованный, учившийся у Боаса и примкнувший затем к Леви-Строссу исследователь, как Кребер, написав разгромную книгу о *Тотеме и Табу*, впоследствии, двадцать лет спустя, публикует работу, в которой замечает, что книга эта, по-видимому, должна была быть написана, что в ней что-то есть, хотя он так и не сумел сказать, что именно, и что миф об Эдипе действительно содержит какую-то изюминку. Он ничего больше не добавляет, но в связи с той критикой, которой он некогда подверг книгу Фрейда, признание это заслуживает внимания. Его собственная критика раздражала его, не давала ему покоя, тем более, что она стала всеобщим достоянием и любой студент охотно присоединялся к хору хулителей – этого он перенести не мог.

Что касается книги *Тотем и табу*, то не худо было бы – я не знаю, хотите ли вы, чтобы мы этим в нынешнем году занялись – изучить ее композицию. Трудно представить себе что-либо более нескладное. Если я проповедую возвращение к Фрейду, это еще не значит, что я не могу позволить себе назвать *Тотем и табу* нескладной. Именно потому и стоит вернуться к Фрейду – нужно понять, что если у человека, умевшего думать и писать так, как он, выходит из под пера нечто до такой степени нескладное, на это должны быть свои причины. Я не хотел бы примешивать сюда *Моисея и монотеизм* – не будем сейчас о нем говорить, так как разговор о нем нам как раз еще предстоит.

Как видите, я постепенно навожу у вас в головах определенный порядок, хотя и не пытался вас сразу провести в дамки. Я в свое время проделал, конечно, всю эту дорогу сам, помощников у меня не было – некому было объяснить мне, что такое образования бессознательного или, скажем,

объектное отношение. Вы подумаете, что теперь я просто выделываю фокусы вокруг Фрейда. На самом деле, речь идет совсем о другом.

Попробуем понемногу разобраться в том, какую роль играет у Фрейда миф об Эдипе. Поскольку торопиться мне некуда, я тему эту сегодня не закончу. Рассуждать о ней я могу без устали. Так что буду говорить как Бог на душу положит, и посмотрим, куда это мало-помалу нас приведет.

## 4

Начну с конца и скажу сразу, к чему я клоню, так как не вижу причины не открыть карты. Я, собственно, собирался вести дело совсем иначе, но так будет, по крайней мере, какая-то ясность.

Я не собираюсь утверждать, будто от эдипа нет никакого проку, или отрицать, что он имеет к тому, что мы делаем, какое-то отношение. Психоаналитикам от него проку нет, это точно, но поскольку психоаналитики не обязательно таковыми являются, это еще ни о чем не говорит. Психоаналитики все больше и больше занимаются тем, что, на самом деле, необычайно важно – ролью матери. И я к подобным вещам уже начал искать подход.

Роль матери – это ее, матери, желание. Это самое главное. Желание матери не является чем-то таким, что можно снести с безразличием, что оставляет вас равнодушным. Оно всегда чревато какой-то порчей. Огромный крокодил, у которого ты во рту – вот что такое мать. И никогда не знаешь, не взбредет ли ей в голову свою пасть захлопнуть. Вот что оно такое, желание матери.

Я попытался, однако, объяснить вам, что кое на что рассчитывать все же можно. Я говорю сейчас простые вещи, я импровизирую. Существует там, в пасти, наготове некий валик – каменный, разумеется – который не дает ей закрыться. Это то, что называют фаллосом. Этот валик поможет вам в случае, если пасть все-таки захлопнется.

Все это я уже объяснял в свое время – в то время, когда я говорил для людей, к которым нужен был щадящий подход,

для психоаналитиков. Чтобы они поняли, нужно было прибегать к таким вот грубым примерам. Впрочем, они перестали меня понимать. Именно на этом уровне говорил я с ними об отцовской метафоре. Я никогда не говорил об эдиповом комплексе иначе, как в этой форме. Это говорит о чем-то, не правда ли? Я сказал, что это отцовская метафора, в то время как Фрейд представляет нам вещи совершенно иным образом. Он настаивает, в частности, что история эта, история с убийством отца первобытной орды, эта дарвиновская благоглупость, действительно имела место. Отец орды – можно подумать, что кто-нибудь о нем, об этом отце орды, что-нибудь знает. Орангутангов мы видели, но никаких следов отца первобытной орды никто пока еще не встречал.

Фрейд придает значение тому, что это было на самом деле. Для него это важно. Он специально написал *Тотем и табу*, чтобы это сказать – сказать, что это действительно произошло и что отсюда все началось. То есть все наши беды – и беда быть психоаналитиком в том числе.

Это поразительно – мог бы найтись хоть кто-нибудь, кого бы вопрос об отцовской метафоре хоть немного задел, кто сумел бы хоть немного в него углубиться. Мне всегда хотелось, чтобы хоть кто-нибудь сделал шаг вперед, проложил мне колею, указал дорогу. Но этого, так или иначе, не случилось, и вопрос об эдипе так и остается не затронутым.

Я сделаю несколько предварительных замечаний, потому что в этом деле от нас требуется предельная четкость. Уловками тут не отделаешься. Есть вещь, в которой мы, психоаналитики, поднаторели – это умение отличить явное содержание от латентного. В этом наш опыт и заключается.

Для анализирующего пациента, место которого на схеме здесь, в $\$$, содержание – это его знание. Он пришел сюда, чтобы узнать то, чего он, зная это, в то же самое время не знает. Это и есть бессознательное. Для психоаналитика латентное содержание находится с другой стороны, в $S_1$. Для него латентное содержание – это истолкование, которое он собирается предложить – не в качестве знания, которое мы у субъекта находим, а в качестве того привходящего, что сообщает ему смысл. Замечание это может некоторым психоаналитикам оказаться полезным.

Оставим пока разговор о латентном и явном содержании в стороне, запомнив пока лишь термины. Что такое миф? Не отвечайте все сразу. Это явное содержание.

В качестве определения этого мало, и мы только что определили его по другому. Но если миф можно расписать по карточкам и разложить их потом, чтобы посмотреть, какие комбинации из них выстраиваются, то ясно, что он относится к разряду явного. Два мифа относятся друг к другу так же, как эти мои машинки с их поворотами на девяносто градусов, причем и то и другое дает результат. Мои буковки на доске – это не латентное, это явное. Но что они тут тогда делают? Явное содержание – его надо подвергнуть проверке. И сделав это, мы увидим, что оно не так явно, как кажется.

Для начала – я делаю, что могу – обратимся к нашей маленькой истории.

Комплекс Эдипа в том виде, в котором его Фрейд, ссылаясь на Софокла, рассказывает, вовсе не рассматривается им как миф. Для него это история, рассказанная Софоклом, за вычетом, как вы сами убедитесь, того, что является в ней трагическим. Согласно Фрейду, пьеса Софокла обнаруживает, что, убив отца, человек спит с матерью – убийство отца и материнское наслаждение, в обоих смыслах, как наслаждение матерью и наслаждение самой матери. То обстоятельство, что Эдип знать не знает ни о том, что убил отца, ни о том, что доставляет наслаждение матери и получает от этого наслаждение сам, ничего не меняет, поскольку это как раз и делает историю хорошей иллюстрацией бессознательного.

Я, кажется, уже обратил некогда внимание на двусмысленность использования термина *бессознательное*. В качестве имени существительного оно указывает на вытесненный представитель представления. Используя его как прилагательное, можно сказать, что бедный Эдип совершал *бессознательные* поступки. Здесь налицо по меньшей мере двусмысленность. Как бы то ни было, это нас не смущает. Но чтобы это нас и не смущало, хорошо бы разобраться в том, что это все значит.

Итак, с одной стороны, миф об Эдипе, заимствованный у Софокла. С другой, кошмарная история, о которой у нас шла

речь, история убийства отца первобытной орды. Интересно, что результат этого убийства прямо противоположный.

Папаша имеет их всех – что уже неправдоподобно – зачем понадобилось ему иметь их всех сразу? Но и ребята его не лыком шиты – у них тоже есть свои виды. В общем, его убивают. Последствия это имеет совершенно иные, чем в эдиповом мифе – когда со стариком, старой обезьяной, покончено, происходят две вещи. Одна из них, замечу по ходу дела, просто невероятна – убийцы обнаруживают, что они братья. Это вам даст, наконец, хоть какое-то представление о том, что такое братство, и я вам сейчас предварительно несколько слов об этом скажу – у нас будет еще, может быть, время вернуться к этому перед концом учебного года.

Энергия, которая уходит у нас на братание, наглядно доказывает, что мы никакие не братья. Даже в единокровном брате мы и то не вполне уверены – хромосомы у него могут оказаться совсем другие. Этот раж братства, не говоря уже о свободе и равенстве, пристал к нам, как накипь, и хорошо бы посмотреть, что за ним кроется.

Я лично вижу для братства – между гуманоидами, конечно, то есть все в том же гумусе – одну-единственную причину – это сегрегация. Мы, ясное дело, живем в эпоху, когда от сегрегации этой остался пшик. Сегрегации, если почитать журналы, больше не существует. Беда в том, однако, что в обществе – мне не хочется, обратите внимание, называть его *человеческим*, потому что я думаю, о чем говорю, я выбираю выражения, я не принадлежу, прямо скажу, к левым, – что в обществе, повторяю, все, что существует, основано на сегрегации и, в первую очередь, на братстве.

Никакое братство просто немыслимо, не имеет под собой, как я сказал уже, никакой основы, никакой научной основы, пока оно не изолировано, не выделено из всего прочего. Важно увидеть функцию этого братства и понять, почему оно сложилось. Все это просто бросается в глаза, и делать вид, будто это не так, нельзя – к добру это не приведет.

Я, как видите, недоговариваю. Если я не говорю вам, почему это так, то прежде всего потому, что, сказав, что это так, сказать, почему это так, я уже не могу. Вот вам пример недосказанности.

Но как бы то ни было, они обнаружили, что являются братьями. Да, но во имя какого сегрегационного принципа? Другими словами, для мифа этого маловато. И тут они единогласно решают не трогать своих мамаш. Их же у них много, Они могут меняться, потому что папаша имел их всех. Каждый может спать с мамашей своего брата, потому что братьями они являются исключительно по отцу.

Никому до сих пор и в голову не приходило, насколько далек *Тотем и табу* от того, что имеют в виду обычно, когда ссылаются на Софокла.

Но верх всего – это, разумеется, *Моисей.* Почему так нужно, чтобы Моисея убили? Фрейд объясняет, и это у него самое впечатляющее – для того, чтобы он мог вернуться в пророках, вернуться, конечно же, путем вытеснения, путем – увы, так он думает – мнезической передачи посредством хромосом.

Замечание недалекого Джонса, что Фрейд, мол, похоже, не читал Дарвина, вполне резонно. Только он его все-таки читал, потому что именно на Дарвина он опирается, когда пишет *Тотем и табу.*

Не случайно *Моисей и монотеизм*, как и все, что Фрейдом написано, поражает воображение. Будучи не связанным предрассудками, можно сознаться себе, что в работе этой явно не сходятся концы с концами. Об этом мы позже поговорим. Но что действительно верно, так это то, что здесь, в истории с пророками, наслаждения нет и следа.

Сообщаю вам – как знать, возможно кто-нибудь из присутствующих сможет мне оказаться полезен, – что я пустился на поиски книги, которая послужила стержнем конструкции, построенной Фрейдом – я имею в виду вышедшую в 1922 году работу Зеллина под заглавием *Mose und seine Bedeutung für die israelitisch-jüdishe Religionsgeschichte*.

Имя этого Зеллина небезызвестно. Я достал его книгу *Двенадцать пророков.* Он начинает с пророка Осии. Это один из так называемых малых пророков, но, как говорится, удалых. Именно у него, похоже, находят указания на то событие, которое представляло собой, возможно, умерщвление Моисея.

Я, должен признаться, не дожидался Зеллина, чтобы про-

читать Осию. Но за книгой, о которой я вам сказал, я безуспешно охочусь всю жизнь, и это начинает приводить меня в бешенство. Ее нет в Национальной библиотеке, ее нет во Всемирном израильском союзе, и я всю Европу обшарил, чтобы ее найти. Но я все-таки не теряю надежды ее однажды заполучить. Если у кого-нибудь из вас она случайно в кармане, дайте ее мне после занятия, я верну.

Одно, по крайней мере, в тексте Осии совершенно ясно. Вообще, этот текст Осии – нечто неслыханное. Я не знаю, сколько из присутствующих читали Библию. Я не могу сказать, что на чтении Библии был воспитан, потому что происхожу из католической семьи. А жаль. Зато, впрочем, я читаю ее сейчас – *сейчас* это покрывает время довольно продолжительное – и чтение это безумно интересно. Этот семейный бред, эти заклинания Яхве, обращенные к своему народу – от всего этого просто голова идет кругом.

Но ясно одно – для Осии все отношения с женщинами не что иное, как... И тут следует на его языке довольно крепкое слово. Слово из весьма красивых букв – я напишу его вам на доске по-еврейски. Слово это *znunim*, проституция.

זנונים

В словах, обращенных к Осии, речь идет об одном – его народ погряз в проституции. Проституция – это все, что его окружает, весь контекст в целом. Я уже объяснил вам, что дискурс господина обнаруживает – он обнаруживает, что сексуальных отношений не существует. Так вот, наш избранный народ, похоже, влип тогда в ситуацию, где все оказалось совершенно не так, где сексуальные отношения – они-таки существовали. Именно это, похоже, Яхве и зовет проституцией. Ясно, во всяком случае, что если дух Моисея в данном случае и является, убийство его никак не могло быть тем, что открыло к наслаждению доступ.

Все это настолько завораживает, что никто, похоже, не видел – возражения подобного рода выглядят, может быть, слишком необдуманными и глупыми, но это и не возражения вовсе, мы просто хотим разобраться, – что пророки никогда, в конечном итоге, не говорят о Моисее ни слова. На

это обратила мое внимание одна из лучших моих учениц – и она, надо сказать, протестантка, почему и обнаружила это раньше меня. Более того, они никогда не упоминают о том, что для Фрейда играет ключевую роль, – о том, что Бог у Моисея тот же самый, что и бог Эхнатона, Бог Единый.

Вы сами знаете, что это далеко не так – Бог Моисея говорит всего-навсего, что с другими богами не следует иметь дело, он не говорит, что их нет. Он говорит им, что не следует себе сотворять кумиров, но речь идет, в том числе, о кумирах, представляющих его самого, каковым был, без сомнения, золотой телец. Они ждали Бога, они сотворили золотого тельца – это только естественно. Но налицо здесь и отношения совсем иные – отношения с истиной. Я уже сказал вам, что истина – сестра наслаждения, и к этому надо будет еще вернуться.

Ясно одно – что в грубой схеме *убийство отца-наслаждение матери* не нашло ни малейшего отражения трагическое начало. Конечно, только убийство отца позволяет Эдипу заполучить Иокасту, а с ней и единодушную поддержку народа. Что касается Иокасты, то она – я всегда это говорил – кое-что знала, потому что у женщин всегда находятся собственные источники информации. У нее был слуга, который принимал участие во всем этом деле, и странно, что слуга этот, вернувшийся во дворец и под конец найденный, не сказал Иокасте – гляди, этот тип как раз твоего мужа и замочил. Но как бы то ни было, это не слишком важно. Важно лишь, что Эдип был допущен к Иокасте потому, что выдержал испытание на знание истины.

Но к загадке сфинги мы позже еще вернемся. Если Эдип плохо кончил – мы посмотрим в дальнейшем, что это *очень плохо кончил* значит и до каких пор это так называется – то лишь потому, что непременно хотел узнать истину.

Невозможно серьезно рассматривать то, к чему нас Фрейд отсылает, не учитывая, наряду с убийством и наслаждением, измерение истины.

Здесь я могу, пожалуй, сегодня остановиться.

Одного взгляда на то, как артикулирует Фрейд этот важнейший для него миф, достаточно, чтобы видеть, насколько

неправомерно все подгонять под мерку Эдипа. Какое отношение, черт побери, имеет Моисей к Эдипу или отцу первобытной орды? Здесь должно крыться нечто такое, что причастно как явному содержанию, так и латентному.

В заключение скажу лишь, что мы попробуем в дальнейшем проанализировать комплекс Эдипа как сновидение Фрейда.

*11 марта 1970 года.*

## VIII
## ОТ МИФА К СТРУКТУРЕ

*Истина, кастрация, смерть.*
*Отец как структурный оператор.*
*Мертвый отец и есть наслаждение.*
*Действие и деятель.*
*Истерик хочет себе господина.*

Одна из участниц наших собраний почла за благо – и я приношу ей за это искреннюю благодарность – отреагировать на высказанное мной в прошлый раз разочарование. Она с удовольствием – удовольствие, как вы знаете, это закон наименьшей затраты сил – сообщила мне, что на пути, куда мне предстоит вступить, у меня-таки есть предшественники.

Участница эта – я вижу сейчас, как она улыбается, и, поскольку она среди нас, почему бы и не назвать ее, это Мари-Клэр Бунс – послала мне подшивку очень интересного журнала под названием *Бессознательное*. Я не смог, по уважительным причинам, познакомиться с ее статьей раньше. Журнал этот, где есть, надо сказать, немало интересного, мне не выслали, не выслали, как это ни парадоксально, именно потому, что в принципе – по крайней мере это касается редакторского совета – он опирается на то, чему я учу. Мое внимание привлек номер, посвященный *Отцовству*, где я с большим вниманием прочел статью Мари-Клэр Бунс и еще одну, написанную нашим другом Конрадом Стайном.

Что касается статьи Мари-Клэр Бунс, то я готов, если она не против, воспользоваться сегодня ее текстом как материалом для комментария – при этом могут возникнуть несколько серьезных вопросов в отношении выбранного ей подхода к теме убийства отца у Фрейда. Я полагаю на самом деле, что в ней не найдется ничего такого, что опередило бы те – весьма скромные, надо сказать – соображение по поводу эдипова комплекса, которые я на момент публикации успел высказать.

Существует еще один подход, и я попытаюсь сегодня продвинуться сегодня несколько дальше, показав, что подход этот имплицитно присутствовал уже в тех осторожных шагах, которые я успел сделать. И тогда, может быть, то, что я хотел во время одной из наших встреч высказать, станет, задним числом, яснее, чем если бы я остановился подробно на некоторых моментах статьи, которая во многом представляет собой, на самом деле, своего рода подготовку почвы, введение в проблематику.

Можно высказаться здесь в пользу любого из этих методов – я предоставляю слово Мари-Клэр Бунс.

Затем я испробую второй поход.

## 1

Смерть отца. Любому известно на самом деле, что ключ ко всему тому, что высказывается, и не только под углом зрения мифа, о психоанализе, нужно искать именно здесь.

В конце своей статьи Мэри-Клэр Бунс дает понять, что из смерти отца следует множество важных вещей – то самое, в том числе, в силу чего психоанализ, в определенном смысле, освобождает нас от закона.

Вот она, великая надежда. Я знаю, на самом деле, что именно это имеют в виду, когда наклеивают на психоанализ ярлык анархизма.

Я полагаю, что дело обстоит совершенно иначе – в этом весь смысл того, что я называю изнанкой психоанализа.

Смерть отца, что вторит у Фрейда вести о смерти Бога, этому центру тяготения ницшеанской мысли, не способна, мне кажется, по природе своей принести нам свободу. И первое тому доказательство – это высказывания самого Фрейда на этот счет. В начале своей статьи Мари-Клэр Бун справедливо обращает внимание на то, о чем я говорил вам два занятия назад – о том, что весть о смерти отца не так уж несовместима с мотивом, который Фрейд, давая религии аналитическую интерпретацию, ей приписывает. Сама религия, иными словами, основана на чем-то таком, что

Фрейд, как ни удивительно, сам выдвигает на первый план – на представлении об отце как о том, кто заслуживает любви. И здесь заключен определенный парадокс, вызывающий у упомянутого мною автора некоторое смущение, поскольку оказывается, таким образом, что психоаналитик предпочитает поддерживать, сохранять для себя поле религии.

По этому поводу тоже можно сказать, что дело обстоит совершенно не так. Острием психоанализа является, конечно же, атеизм – при условии, разумеется, что он не сводится для нас к пресловутой *смерти Бога*, которая, судя по всему, не только не ставит то, о чем идет речь, то есть закон, под сомнение, а скорее придает ему прочности. Я давно уже говорил, что из фразы старика Карамазова *Если Бога нет, то все позволено* следует в контексте нашего опыта, что ответом на *Бог умер* служит, наоборот, *не позволено ничего*.

Чтобы высветить те горизонты, которые нам здесь открываются, будем исходить из смерти отца, поскольку именно ее, смерть отца, провозглашает Фрейд ключом к наслаждению, к наслаждению верховным объектом, идентифицированным с матерью, с матерью как объектом инцеста.

Убийство отца, понятное дело, входит во фрейдовское учение не в качестве попытки объяснить, что значит спать с матерью. Скорее наоборот – именно на фундаменте смерти отца возникает запрет на это наслаждение как изначальное.

Речь, на самом деле, идет не просто о смерти отца, а именно об убийстве отца – которое как раз и поставлено во главу угла нашим автором. Именно в мифе об Эдипе, в той форме, в которой он предстает у Фрейда, находится ключ к наслаждению. Но именно постольку, поскольку миф этот предстает нам в изложении Фрейда, рассматривать его следует в качестве того, что он собой представляет, то есть его явное содержание. И потому для начала важно это содержание грамотно артикулировать.

Миф об Эдипе, в том трагическом изводе его, которым Фрейд пользуется, показывает нам, что убийство отца является условием наслаждения. Пока Лай не устранен – в бою, где победа Эдипа вовсе означает для него вступление в наследство наслаждением матери, – пока Лай не устранен, повторяю, этому наслаждению не бывать. Но действитель-

но ли ценой этого убийства Эдип его получает?

Вот здесь-то и выступает на первый план главное – выступает особенно выпукло именно в связи с тем, что Фрейд пользуется именно мифом в трагическом его оформлении. Эдип получает доступ к наслаждению в награду за избавление народа Фив от вопроса, попытка дать ответ на который погубила лучших его сынов, попытавшихся разрешить то, что представало им как загадка в двусмысленной фигуре сфинкса – полу-льва, полу-женщины, воплощении той полу-правды, в которую облечена истина. Дав сфинксу ответ, Эдип разрешает – в этом-то и заключена двусмысленность – то напряженное ожидание, которое породил в народе вопрос об истине.

Он и знать не знал, ответив на этот вопрос, до какой степени его ответ предвосхищает его собственную жизненную драму, как не знал он, что, сделав выбор, попадется в ловушку истины. Человек – вот разгадка, но кто знает, что он, человек, такое? Довольно ли будет того двусмысленного определения, что дал ему Эдип, сказав, что именно он ходит поначалу на четырех конечностях, потом на двух задних – здесь проявилось то, что его самого и всех потомков его отличало, по справедливому замечанию Леви-Стросса, неумение ходить прямо – а затем, наконец, на трех, с помощью посоха, который, хотя и не был белым посохом слепца, принял в случае Эдипа форму еще более поразительную, оказавшись его собственной дочерью Антигоной?

Что же произошло затем с истиной? Она удалилась? Но для чего? Не для того ли, чтобы оставить открытым то, что станет для Эдипа путем возвращения к ней? Ибо истина возникнет перед ним снова, возникнет тогда, когда он пожелает противостать беде куда более страшной, чем поначалу, беде, поражавшей не только тех, кто осмеливался отгадать заданную сфингой загадку, но коснувшейся на сей раз всего народа в форме чумы, этой загадочной болезни, виновником которой в античности считалась именно сфинга. Здесь-то Фрейд и показывает нам, что вопрос об истине встает для Эдипа снова, и результатом становится что? А то самое, что мы можем определить в первом приближении как нечто такое, что имеет по крайней мере некоторое отношение к

кастрации, той цене, которую Эдип за истину заплатил.

Но все ли еще этим сказано? Ведь в результате отнюдь не бельмы спадают у него с глаз – нет, это глаза спадают у него как бельма. Не в этот ли объект, как мы видим, превращается на наших глазах Эдип, не претерпев кастрацию, нет, но став, скорее, кастрацией сам – в то самое, что осталось от него, когда исчезло с его лица, в форме глаз, одно из привилегированных воплощений объекта *а*?

Напрашивается подозрение – а не расплачивается ли Эдип за то, что он не унаследовал трон, а взошел на него, будучи выбран в качестве господина, человека, сумевшего вопрос об истине стереть бесследно? Другими словами, посвященные уже в суть дела моими словами, что суть позиции господина в его кастрации, разве не видите вы здесь указания, пусть прикровенного, на тот факт, что именно в кастрации берет свое начало то, что и предстает, собственно говоря, как наследование?

Если кастрация – как любопытным образом нам это всегда подсказывала фантазия никогда не связывая, однако, этого факта с основополагающим мифом об убийстве отца – если кастрация, повторяю, является уделом сына, не она ли, та же кастрация, оказывается царским путем к выполнению функции отца? Это дает о себе знать в нашем опыте. Не свидетельствует ли это о том, что кастрация передается от отца к сыну?

Но можно ли говорить тогда, что именно смерть послужила всему началом? Не свидетельствует ли все, напротив, о том, что перед нами своего рода дымовая завеса? Возникшее и опробованное с позиции аналитика в субъективном процессе, где функция кастрации дает себя знать, не оказывается ли это чем-то таким, что, тем не менее, скрадывает этот процесс, его вуалирует, берет его, так сказать, под свое покровительство, избавляя нас тем самым от необходимости заострять внимание на том, что позволило бы раз и навсегда строго определить позицию аналитика.

Почему это так получилось? Не лишне в этой связи отметить, что миф об убийстве отца как основополагающем факте впервые встретился Фрейду при истолковании сновидения, и что в нем, сновидении этом, нашло выражение

пожелание смерти. Конрад Стайн в своей статье подвергает его интересному критическому разбору, показывая, что эти пожелания смерти своему отцу усиливаются в тот момент, когда смерть эта стала реальностью. Само *Толкование сновидений* выросло, по словам Фрейда, из смерти его отца. Фрейд, таким образом, хотел бы видеть себя виновным в смерти отца.

Не очевиден ли здесь, спрашивает автор статьи, знак чего-то другого, что за этим скрывается – пожелания, чтобы отец был бессмертен?

Истолкование это соответствует принципам аналитического психологизма, основанного на той предпосылке, что сущность позиции ребенка состоит в представлении о всемогуществе, делающем его неподвластным смерти. От автора, эту предпосылку разделяющего, подобной интерпретации, если хотите, и следует ждать. Напротив, если подойти к предпосылке относительно позиции ребенка критически, станет ясно, что к вопросу о пожелании смерти и тому, что за ним стоит – если за ним, конечно, что-то стоит – нужно подойти с другой стороны.

Прежде всего можем ли мы, зная, что субъективная структура обусловлена введением означающего, видеть фундамент этой структуры в чем бы то ни было, что называлось бы познанием смерти?

Следуя своей линии, Конрад Стайн необычайно искусно пользуется фрейдовским анализом нескольких основных сновидений – в том числе знаменитой просьбы закрыть глаза, с двусмысленностью этого загражденного *глаза*, фигурирующего у него в качестве альтернативы, – чтобы истолковать пожелание смерти как отрицание ее ради представления о всемогуществе.

Но возможно и другое прочтение.

## 2

Иной смысл становится ясен, если рассматривать последнее сновидение в этой серии как центральное, что я в свое время и сделал.

Сам Фрейд особо выделил то сновидение – не свое собственное, а одного из своих пациентов – в котором прозвучали слова *«он не знал, что он мертв»*.

Анализируя это сновидение, я записал его на двух уровнях – акта высказывания и его содержания. Сделано это было, чтобы напомнить, что возможно одно из двух: либо смерти не существует и нечто переживает ее – что не решает еще вопрос о том, знают ли мертвые, что они мертвы; либо по ту сторону смерти нет ничего – и ясно тогда, что они этого не знают. Так что никто, по крайней мере из живущих, не знает, что такое смерть. Интересно, что спонтанные формулировки, возникающие на уровне бессознательного, говорят о том, что смерть для кого бы то ни было, строго говоря, непознаваема.

Я подчеркнул в свое время, что жизнь не может обойтись без того, чтобы нечто абсолютно неразрушимое в нас не знало – не то что мы мертвы, так как в качестве *нас* мы отнюдь не мертвы, не все одновременно, во всяком случае, что и держит нас на плаву, – чтобы нечто, повторяю, не знало, что мертв *Я*. Я действительно мертв, мертв в том смысле, что обречен смерти – но во имя чего-то, что этого не знает, не хочу этого знать и я сам.

Именно это и позволяет нам строить всю нашу логику на том *всяком человеке – всякий человек смертен* – которого поддерживает лишь незнание о смерти. Это же самое вселяет в нас уверенность в том, будто слова *всякий человек* что-то значат, будто они означают всякого человека, рожденного от отца, по вине которого, объясняют нам, поскольку он мертв, человек не может насладиться тем, чем ему на роду написано насладиться. Фрейдовская терминология устанавливает, таким образом, эквивалентность мертвого отца наслаждению. Именно он, отец этот, держит наслаждение, так сказать, про запас.

Итак, фрейдовский миф, если взять его не на уровне трагического с его возвышенной тонкостью, а на уровне мифа в *Тотеме и табу*, это миф об эквивалентности отца наслаждению. Это и есть то самое, что получает у нас название структурного оператора.

Миф выступает здесь за собственные пределы и выдает себя за реальное, провозглашая, на чем Фрейд как раз и

настаивает, что событие это и вправду произошло, что оно имело место в реальной действительности, что мертвый отец и есть страж наслаждения, источник наложенного на него запрета.

То, что мертвый отец и есть наслаждение, знаменует невозможность как таковую. Именно поэтому обнаруживаем мы здесь те же термины, которыми я воспользовался в свое время, чтобы указать на радикальное отличие Реального от двух других у меня с ним связанных категорий – Воображаемого и Символического. Реальное – это невозможное. Не в смысле стенки, в которую мы упираемся лбом, а в качестве логической границы того, что заявляет о себе в Символическом как невозможное. Именно отсюда берет начало Реальное.

Здесь вырисовывается по ту сторону эдипова мифа знакомый структурный оператор в лице так называемого реального отца – отца, обладающего тем свойством, что он, в качестве парадигмы, служит водворению в сердцевине системы Фрейда того, что является отцом Реального – Реального, которое вводит в учение Фрейда элемент невозможного.

А это значит, что учение Фрейда не имеет ничего общего с психологией. О психологии этого пра-отца ни малейшего представления составить нельзя. Сама фигура его, какой она предстает у Фрейда, откровенно смешна, и мне нет нужды повторять вам то, что я уже говорил на прошлой неделе – чтобы кто-то имел всех женщин зараз, невозможно себе представить, так как все мы знаем, что даже одной-единственной угодить непросто. И это отсылает нас к совершенно иному понятию, кастрации – понятию, которым теперь, определив его как принцип господствующего означающего, нам можно воспользоваться. Что это значит, я вам к концу занятия покажу.

В дискурсе господина наслаждение предстает как то, что достается Другому – именно у него в распоряжении находятся к тому все средства. То, что является языком, получает его лишь настаивая на своем до тех пор, пока не возникает утрата – утрата, в которой находит свое воплощение избыто(чно)е наслаждение. Первоначально язык, даже

язык господина, не может представлять собой ничего иного, как требование, требование безуспешное. Не из успеха, а из повторения рождается то новое измерение, что названо у меня утратой – утратой, в которой избыто(чно)е наслаждение воплощается.

Это повторяющееся творение, создание измерения, в котором занимает свое место все то, о чем способен судить аналитический опыт, может проистекать из первоначальной беспомощности, беспомощности ребенка – и всемогущество, напротив, здесь не при чем. Если психоанализу удалось доказать, как выяснилось, что ребенок – это отец мужчины, то это значит, что должно непременно быть где-то нечто такое, что является между ними посредником. Это и есть инстанция господина – инстанция, именуемая так потому, что из любого, практически, означающего она делает означающее господина.

Говоря в свое время о том, во что выливается объектное отношение во взаимодействии с открытой Фрейдом структурой, я заявил, что реальный отец – это агент кастрации. Но заявил я это не прежде чем указал на существенное различие между кастрацией, фрустрацией и лишением. Кастрация – это функция по сути своей символическая, то есть немыслимая без артикуляции означающих, фрустрация – функция Воображаемого, а лишение, само собой разумеется – Реального.

Что можно сказать о результатах этих трех операций? Что касается первой из них, кастрации, то объектом ее становится загадка, которую ставит перед нами такой явно воображаемый предмет, как фаллос. Во фрустрации, напротив, дело всегда идет о чем-то вполне реальном, хотя притязания, лежащие в ее основе, берут начало в чисто воображаемой идее о том, будто реальное это кто-то вам должен, что еще далеко не факт. Что до лишения, то ясно, что оно может располагаться только в символических координатах, так как в реальном никакой нехватки не может быть – что реально, то реально, и тот существенный элемент, без которого мы не были бы в реальном сами, элемент нехватки – ведь именно он характеризует субъекта в первую очередь – обязательно должен быть в реальное привнесен извне.

А вот что касается агентов этих трех операций, то в отношении их я был – совершенно этого не скрывая, несколько менее эксплицитен. Отец, реальный отец, есть не что иное, как агент кастрации – это и есть то самое, что попытка представить реального отца в качестве невозможного предназначена от нас скрыть.

Что это такое – *агент*? На первый взгляд, мы соскальзываем в фантазм, где отец предстает кастратором. Интересно, что ни один из мифов, к которым обращается Фрейд, ни в какой форме своей ничего подобного не содержит. Кастрироваными сыновья предстают вовсе не потому, что в какой-то первой, гипотетической, еще чисто животной стадии они не имели, якобы, доступа к женской половине стада. Кастрация как выражение запрета не могла, в любом случае, возникнуть иначе, как на второй стадии, стадии мифа об убийстве отца орды, и источником ее является, если следовать мифу, общее соглашение, то странное *initium*, на проблематичность которого я в последний раз обратил внимание.

Термин *акт, поступок,* тоже требует пояснения. Если принять то, что я говорил в этом отношении, рассуждая об аналитическом акте, всерьез, если поступок действительно оказывается возможен не иначе, как в контексте всего того, что означающее, войдя в мир, в него привнесло, то *в начале* поступок оказаться никак не может, а тем более поступок, который можно охарактеризовать как убийство. Миф не может иметь здесь иного смысла, кроме того, к которому я его свел, то есть высказывания невозможного. Вне поля, артикулированного настолько полно, чтобы в нем изнутри был заложен закон, совершить поступок нельзя. Не существует поступка, который не имел бы к эффектам этой значащей артикуляции отношения и не нес бы в себе всю его проблематику – как тот провал, который предполагает, или к которому сводится, само существование чего-то такого, что можно наименовать субъектом, с одной стороны, так и то, что предсуществует поступку в качестве законодательной функции, с другой.

Не вытекает ли функция реального отца в деле кастрации из природы самого поступка? Предложенный мною

термин *агент* как раз и позволяет не считать этот вопрос предрешенным.

Слово *агент* ассоциируется в языке со множеством других, ему родственных. Со словом *актер*, например. Со словом *акционер* тоже – почему бы и нет? Ведь слово это происходит из того же слова *акция*, означающего действие и показывает нам, что действие – это не совсем то, что мы думали. Со словом *активист* тоже – разве не означает оно того, кто считает себя чем-то большим, чем простым орудием чужой воли? Или, в нашей ситуации, с Актеоном – прекрасный пример для тех, кто знает, что это слово в терминах фрейдовской вещи значит. С тем, наконец, кого мы просто называем *моим агентом*. Вы все знаете, что это последнее выражение значит – оно значит: *я ему за это плачу*. Или даже: *я возмещаю ему убытки, связанные с тем, что больше ему заняться нечем*, или еще: *я плачу ему гонорар* – выражение, дающее понять, что он, якобы, способен на что-то еще.

Коннотации термина подсказывают, таким образом, на каком уровне реальный отец выступает в качестве агента кастрации. Реальный отец выполняет функции головного агентства (l'agence-maître).

## 3

Функции агента становятся в наше время все более для нас привычными. Мы живем в эпоху, когда мы знаем, что за этим стоит – реклама, барахло, которое надо во что бы то ни стало сбыть с рук. Но мы знаем, с другой стороны, что именно на этом держится ход вещей, именно благодаря этому достигли мы пароксизма, расцвета дискурса господина в обществе, которое на этом дискурсе зиждется.

Час уже поздний.

Мне придется кое-что опустить, но я все-таки упоминаю об этом и мы к этому в дальнейшем еще вернемся, так как то, о чем идет речь, для меня важно и достойно, на мой взгляд, более пристального рассмотрения. Поскольку функция агента особо мною выделена и подчеркнута, мне хотелось бы однажды продемонстрировать вам все, что можно из нее

вывести, если воспользоваться понятием *двойного агента*.

Все мы знаем, что в нашу эпоху фигура эта неизменно оказывает завораживающее воздействие. Агент, которому одного этого мало. Он не довольствуется, как все, ролью представителя господина на рынке. Он полагает, что то единственно стоящее, с чем он вступает в контакт, наслаждение, не имеет с нитями сети ничего общего. И работая, он сохраняет для себя, в конечном итоге, именно это.

Это странная история и из нее следуют далеко идущие выводы. Настоящий двойной агент – это агент, полагающий, что то, что в сети не попадает, тоже необходимо прибрать к рукам. Потому что если это что-то оказывается истинным, настоящим, то настоящей становится и его деятельность, более того – первоначальная его деятельность, которая была, конечно же, чистой воды надувательством, становится настоящей сама.

Именно это, наверное, руководило человеком, который взял на себя, неизвестно почему, функции эталонного агента дискурса господина – дискурса, легитимность которого построена на сохранении им того, чью сущность один автор, Анри Массис, пророчески обрисовал афоризмом *стены прекрасны*. Человек этот, носящий вызывающее ассоциации с Хайдеггером имя Зорге, ухитрился внедриться в нацистскую агентуру и стать двойным агентом – в пользу кого, вы думаете? В пользу Отца Народов, от которого все и ожидают как раз, что он приберет к рукам и истину тоже.

Приведенная мною в пример фигура Отца Народов имеет немало общего с фигурой реального отца как агента кастрации. Поскольку фрейдовское учение не может, хотя бы потому уже, что говорит он о бессознательном, не отправляться от дискурса господина, пресловутый реальный отец не может предстать в нем иначе, как невозможным. И все же мы его, этого реального отца, знаем – только это нечто совсем иного порядка.

Всем, во-первых, известно, что он работает, и работает, чтобы прокормить семью. Даже являясь агентом какого-нибудь общества, которое, конечно же, держит его в черном теле, он сохраняет в себе очень приятные стороны. Он трудяга. К тому же ему очень хотелось бы быть любимым.

Есть вещи, которые свидетельствуют о том, что мистагогия, сделавшая из него тирана, имеет совсем иное происхождение. Она возникает – как, впрочем, Фрейд всегда и дает понять – на уровне реального отца как языковой конструкции. Реальный отец – это не что иное, как эффект языка, и ничего другого реального в нем нет. Я не говорю – другой реальности, так как реальность – это совершенно иное дело. Об этом я вам только что говорил.

Я мог бы пойти еще дальше и обратить ваше внимание на то, что понятие реального отца несостоятельно с точки зрения науки. Есть только один реальный отец – это сперматозоид, и никому еще, пока свет стоит, не приходило в голову объявить себя сыном того или иного сперматозоида. Можно, естественно, ссылаясь на группу крови и резус-фактор, такие вещи оспаривать. Но эти новомодные штучки не имеют ничего общего с тем, что называли до сих пор отцовской функцией. Я понимаю, что вступаю на зыбкую почву, но что ж, тем хуже – не надо быть членом племени аранда, чтобы поинтересоваться при виде беременной женщины, кто является реальным отцом ребенка. Если есть вопрос, которым анализ вправе задаться, так это именно этот. Почему в психоанализе реальным отцом – подобные подозрения время от времени возникают – не может оказаться сам психоаналитик? Даже если это сперматозоиды совсем не его? Такое приходит иногда в голову, когда в связи, скажем мягко, с аналитической ситуацией, пациентка становится, в конце концов, матерью. Не нужно принадлежать к племени аранда, чтобы задаться вопросами о функции отца.

Заметим тут же, взглянув на вещи шире, что для того, чтобы этот вопрос возник, не обязательно обращаться к столь актуальному для нас примеру психоанализа. Можно отлично сделать ребенка от собственного мужа, и при этом ребенок этот останется ребенком кого-то другого, с которым мать даже и не спала – останется потому лишь, что хотела она ребенка именно от него. И только поэтому, собственно, ребенка и родила.

Это уводит нас, как видите, в сторону сновидения. Но единственная моя цель при этом – это вас разбудить. Заметив, что измышления Фрейда – не на уровне мифа, ко-

нечно, и не на уровне распознавания в сновидениях пациентов пожелания смерти – это его, Фрейда, сновидение, я хотел лишь сказать, что аналитик должен, на мой взгляд, из плоскости сновидения хотя бы немного вырваться.

То, что встретил психоаналитик, следуя Фрейду в его блестящих открытиях, то, что он из этой встречи извлек, не устоялось еще окончательно. В прошлую пятницу я демонстрировал на показе больных одного господина – я не знаю, собственно, почему надо его называть больным – с которым произошло нечто такое, в результате чего энцефалограмма его, как объяснила мне сестра, всегда соответствует пограничному состоянию между сном и бодрствованием, колеблясь таким образом, что никогда не известно, в какой момент он перейдет из одного состояния в другое, и в таком положении он постоянно и пребывает. Примерно так представляю я себе своих коллег-аналитиков и, возможно, себя самого. Шок, вызванная рождением анализа травма, погрузила их в подобное состояние. Поэтому они и хлопают крыльями, пытаясь вытянуть из фрейдовских формулировок что-нибудь ценное.

Не то, чтобы это совсем им не удавалось, но хотелось бы, чтобы они разглядели, например, вот что. Именно позицией реального отца – позицией, которая, по логике Фрейда, оказывается невозможной – обусловлено то, что отец непременно предстает в воображении как фигура, причиняющая лишение. Это не воображение мое или ваше, это связано с самой позицией. Не удивительно, что мы все время встречаемся с отцом воображаемым. И обусловлено это, повторяю, железной, структурной зависимостью от чего-то такого, что, напротив, ускользает от нас – от отца реального. А определить реального отца сколь-нибудь строго нельзя иначе, как в качестве агента кастрации.

Кастрация – это не то, что всякий, кто занимается психологией, под этим выражением понимает. Еще недавно один из членов аттестационной комиссии, явно склонный видеть в психоанализе род душепопечения, заявил так – *знаете*, сказал он, *для нас кастрация это всего лишь фантазм*. Ничуть не бывало. Кастрация – это реальная операция, являющаяся последствием вмешательства в отношения между

полами означающего, безразлично какого. Она-то, разумеется, и делает из отца то невозможное реальное, о котором мы говорили.

Нам предстоит теперь разобраться в том, что эта не являющаяся фантазмом кастрация – кастрация, вследствие которой не существует причины желания, не являющейся ее продуктом, а фантазм подчиняет себе всю реальность желания, то есть закон, – что конкретно она, кастрация эта, собой представляет.

Что касается сновидения, то все мы знаем теперь, что оно не что иное, как требование, означающее, которое оказалось на воле и теперь плачет и переминается с ноги на ногу, абсолютно не представляя себе, что оно хочет. Мысль о том, что в основе желания лежит всемогущий отец, опровергается тем фактом, что свои господствующие означающие Фрейд заимствовал из дискурса истерика. Не следует забывать, что именно отсюда исходил Фрейд, не скрывавший, что является для него центральным вопросом. Услышанное было усвоено им так бережно, что повторить это сумела даже ослица, понятия не имея, о чем идет речь. Вопрос этот, конечно – *чего хочет женщина?*

Некая женщина (une femme), но не абы какая. Сам вопрос предполагает, что она чего-то да хочет. Фрейд не спросил – *чего хочет Женщина?* – Женщина вообще, Женщина с большой буквы. Откуда мы знаем, в конце концов, хочет Женщина чего-нибудь, или нет? Я не сказал бы, что она смирилась со всем, с *ка – Kinder, Küchen, Kirche* – наша хозяйка вполне сжилась, но есть и много других – *культура, киловатт, кульбит*, например, или *Cru et Cuit*, сырое и вареное – она поглощает все, все ей идет на пользу. Но задавшись вопросом *чего хочет женщина?* вы оказываетесь на почве желания, а поставить вопрос на почву желания, означает – если речь идет о желании женщины – искать ответа у истерички. Чего истеричка хочет – я говорю это для тех, кто не является профессионалом, таких здесь много – так это господина. Это ясно. Это настолько очевидно, что напрашивается вопрос – а не ими ли господин был изобретен? Это был бы изящный способ нашу мысль подытожить.

Она хочет господина. То самое, что видите вы в схеме

истерического дискурса наверху справа. Она хочет, чтобы другой был господином, чтобы он знал много разных вещей, но не настолько много, чтобы не верить больше, что именно она является верховной наградой за все его знания. Другими словами, она хочет господина, над которым могла бы царствовать. Она царствует, а он не правит.

Вот из чего Фрейд исходит. Она – это истеричка, но это не обязательно связано с определенным полом. Стоит вам задаться вопросом – *а что хочет такой-то?* – как вы немедленно задействуете функцию желания и обнаружите господствующее означающее.

Фрейд выработал некоторое количество господствующих означающих, связав их таким образом со своим именем. Имя используется как затычка. Меня удивляет, что с затычкой вроде имени отца, каково бы оно ни было, можно связать представление о том, будто на этом уровне могло иметь место убийство. Кому могло прийти в голову, будто одна преданность имени Фрейда делает аналитиков тем, что они есть? Они просто не могут избавиться от выработанных Фрейдом господствующих означающих, вот и все. И держатся они не за Фрейда, а за означающие – *бессознательное*, например, *соблазнение, травматизм, фантазм, Я,* и так далее. О том, чтобы из этого круга означающих выйти, и речи не может быть. На этом уровне им никакого отца убивать не надо. Нельзя быть отцом означающих, отцом можно быть разве что *по причине* оных. На этом уровне никаких проблем нет.

Проблема начинается там, где наслаждение отделяет господствующее означающее как нечто такое, что хотели бы приписать отцу, от знания в качестве истины. Препятствие на схеме дискурса аналитика располагается там, где я нарисовал треугольник – между тем, что может возникнуть в какой бы то ни было форме в качестве господствующего означающего, с одной стороны, и местом, которое занимает знание, когда оно выступает в качестве истины, с другой.

$$\frac{a}{S_2} \rightarrow \frac{\$}{\blacktriangle S_1}$$

Это и позволяет сформулировать, как обстоит в действительности дело с кастрацией: даже для ребенка, что бы ни

измышляли на этот счет, отец – это тот, кто об истине ничего не знает.

Я вернусь к этому на нашей ближайшей встрече.

*18 марта 1970 года.*

## ДОПОЛНЕНИЕ

*Очередное занятие:* Радиофония.

Я не знаю, чем вы занимались то время, пока мы не встречались. Оно, в любом случае, не прошло для вас даром. Что до меня, то я пользуюсь случаем сообщить особе, любезно представившейся сорбоннским *неучем*, что мне прислали из Копенгагена книжку Зеллина, которую я разыскивал – ту самую маленькую книжку 1922 года издания, которая оказалась впоследствии предана забвению и которая как раз и внушила Фрейду уверенность в том, что Моисей был убит.

Насколько я знаю, кроме Джонса и еще двух-трех человек, психоаналитики этой книгой особенно не интересовались. Тем не менее текст Селина достоин внимания, поскольку Фрейд считал его очень важным, и если мы хотим в его мнении разобраться, книгу, конечно, надо читать. Мне кажется, что это лежит вполне в русле того, что мы в этом году об изнанке психоанализа говорили. Но поскольку книгу эту я держу в руках всего пять дней, а написана она на немецком весьма густом, куда менее прозрачным, нежели тот, к которому мы привыкли, читая Фрейда, я, сами понимаете, несмотря на помощь, которую любезно предоставили мне несколько раввинов, больших и маленьких – ладно, больших, маленьких раввинов не бывает, – не готов сегодня ее подытожить – во всяком случае, удовлетворительным образом.

С другой стороны, получилось так, что меня попросили – не в первый раз, это была просьба уже давнишняя – отве-

тить на вопросы бельгийского радио. Просьба эта поступила со стороны господина Жоржена, человека, снискавшего, прямо скажу, мое уважение тем, что прислал мне длинный текст, свидетельствующий по меньшей мере о том, что автор, в отличие от многих других, действительно прочел мои «Écrits». Он не извлек из них, конечно, всего, что мог, но и это, в конечном счете, уже неплохо. По правде говоря, я был даже польщен. Не то чтобы идея выступать по радио меня увлекла – это всегда большая потеря времени. Но поскольку, мне кажется, он все организовал так, чтобы сделать дело как можно быстрее, я, наверное, пойду его просьбе навстречу.

Зато я не знаю, пойдет ли, наоборот, навстречу мне он, поскольку отвечая на эти вопросы – три из этих ответов вы сегодня услышите – я счел за благо ответить на них в письменной форме, не надеясь на минутное вдохновение, на тот импульс, который каждый раз, когда я нахожусь здесь перед вами, мною руководит – импульс, питающийся многочисленными заметками и передающийся вам, свидетелям моей одержимости.

Другое дело, когда выступать приходится перед десятками, а то и сотнями тысяч слушателей – такое выступление, лишенное, к тому же, зримой опоры, может привести к совсем иным результатам.

Я в любом случае отказался бы дать что-либо кроме этих текстов, уже написанных. Это требует большого доверия к аудитории, так как, вы сами увидите, заданные мне вопросы лежат, как и следовало ожидать, где-то на середине между строгими построениями, с одной стороны, и тем, что я называю общественным сознанием, с другой. Общественное сознание – это, помимо прочего, серия общих формул. Подобный язык уже у древних, у греков, получил название *койне*. По-французски можно передать это как *couinée*, писк. Койне ойкает.

Я далек от того, чтобы койне презирать. Просто я полагаю, что оно, прибегая к речи предельно грубой, способствует своего рода быстрой кристаллизации.

Вот почему сегодня я поделюсь с вами ответами на три из этих вопросов. Я делаю это не для того, поверьте, чтобы

облегчить себе жизнь, так как, я уверяю вас, прочесть эти тексты для меня куда тяжелее, чем провести с вами обычное занятие.

Чтобы не терять время, я зачитываю для вас первый из этих вопросов, который звучит так – *Вы утверждаете в вашей книге, что Фрейд, сам того не зная, предвосхищает исследования Соссюра и работы Пражского кружка. Не могли бы вы дать разъяснения по этому поводу?*

Ответом служит следующий текст, импровизацией, как я уже предупредил, не являющийся.

[*Зачитанный текст ответов на три вопроса был опубликован в дальнейшем под заглавием* Радиофония *в сборнике* Scilicet, *№2-3, опубликованным издательством Seuil.* ]

*9 апреля 1970 года.*

## IX
## ОЖЕСТОЧЕННОЕ НЕВЕЖЕСТВО ЯХВЕ

*Фрейд и Зеллин.*
*Лживость истолкования.*
*Осведомленность.*
*Моисей-мертвец.*
*Брачная аллегория.*

Я не стану говорить, что представляю вам профессора Андре Како, преподавателя пятой секции религиозных наук Школы Высших Иследований, где, как вы знаете, я читаю лекции.

Я не стану говорить, что вам представляю его, потому что в представлении он не нуждается. Представлюсь лучше сам – перед вами человек, который с его любезного позволения находится в полной зависимости от него с момента, предшествовавшего на два дня нашей последней встрече, то есть с момента, когда мне захотелось узнать его мнение о книге Зеллина.

### 1

Я говорил об этой книге достаточно долго, чтобы вы прониклись сознанием ее важности. Для тех, кто оказался здесь в первый раз, напомню, что книга эта пришла на помощь Фрейду, как по заказу, как раз тогда, когда он развивал тематику смерти Моисея, который, по его мнению, был убит. Благодаря господину Како мне стало понятно место этой книге в экзегетической традиции, на фоне расцвета так называемой техники анализа текста, разрабатывавшейся главным образом в немецких университетах в течение девятнадцатого века. Прояснилось для меня и место Зеллина среди его предшественников и последователей, в первую очередь Эдуарда Мейера и Грессмана.

Я уже говорил вам, что раздобыл эту книгу не без труда,

поскольку найти ее в Европе оказалось почти невозможно. В конце концов, с помощью французского израильского Альянса, я получил эту книгу из Копенгагена. Этой находкой я и поделился с г-ном Како, одним из немногих, кто не только слышал об этой книге, но и держал ее в руках за некоторое время до того, как я обратился к нему за помощью. И мы рассмотрели с ним этот текст на предмет того, что позволило Фрейду, движимому совсем иными мотивами, нежели Зеллин, вычитать из него свою заветную мысль.

Это вынудило нас углубиться в область, где я являюсь совершенным невеждой. Вы не можете знать все то, в чем я являюсь невеждой, так как знай вы это, вы знали бы все. Пытаясь навести порядок в том, что мне от г-на Како удалось узнать, я неожиданно осознал, что есть огромная разница между знанием, знанием того, о чем говорят, о чем могут, или думают, что могут, говорить, с одной стороны, и тем, как обстоит дело с чем-то таким, для чего я предложу сейчас термин, который послужит объяснению того, чем мы с вами сейчас займемся.

Итак, в стиле наших с вами занятий произойдет очередное резкое изменение. В прошлый раз вы подверглись тяжкому испытанию – некоторые даже высказали предположение, что я решил немного проредить ряды своих слушателей. Судя по многочисленности сегодняшней аудитории, результат оказался неважный. На этот раз у вас будет, напротив, повод остаться. И если в дальнейшем мне придется снова заняться с вами чем-то вроде того, что я могу сегодня с помощью г-на Како проделать, мы подойдем к этому совершенно иначе. Честно говоря, я не решился сегодня снова манипулировать тем, чем нам поневоле пришлось манипулировать раньше – буквами еврейского алфавита.

В текст, который я вам в последний раз зачитал, было вставлено определение из Мидраша. Речь идет об отношениях с текстом, подчиненным определенным законам, которые имеют для нас необычайную важность. На самом деле, как я вам уже объяснил, речь идет о том, чтобы занять место в промежутке, где возникают отношения между письменным текстом, с одной стороны, и устным вмешательством, которое к нему отсылает и опирается на него, с другой.

Анализ в целом, я имею в виду аналитическую технику, может внести в отсылки к тексту определенную ясность, рассматривая их как игру – в кавычках – истолкования. С тех пор, как начали говорить о конфликте истолкований, термин этот стали использовать вкривь и вкось – можно подумать, будто истолкования могут вступить между собою в конфликт. В лучшем случае они дополняют друг друга, играя на этих отсылках. Важно здесь то, о чем я сказал в прошлый раз – это *falsum* и двусмысленность, состоящая в том, что именно вокруг него ложное, то есть противоположное истинному, может кануть в небытие. Порою ложная интерпретация может даже привести к смещению дискурса. Именно этот случай мы и будем рассматривать. Чтобы дать вам понять то, о чем идет речь, лучшего способа не приходится и желать.

В области, куда мы вступаем, я могу рассчитывать не на знание, а, скорее, на то, что можно назвать, скажем, осведомленностью. Сейчас, в вашем присутствии, я как раз и продолжу усилия в этом направлении в форме, совершенно конкретной, вопросов, заданных мною г-ну Како в течение этих последних дней – вопросов, которым поневоле не видно конца. Тем самым я, как и вы, окажемся в курсе определенного знания, знания библейской экзегетики.

Нужно ли напоминать вам о том, что в упомянутой мной пятой секции г-н Како специализируется на сравнительном изучении семитских религий? Я на собственном опыте сумел убедиться, что в этой области не найдется другого человека, который смог бы столь же грамотно, в духе собственных моих соображений на этот счет, объяснить вам особенности подхода Зеллина, извлекающего из текста Осии – вы сами увидите, каким способом – то, что ему самому очень хотелось в них разглядеть. У него были на то причины, и причины эти нам важно установить. То, что я узнал на этот счет от г-на Како, не менее ценно.

Я только что говорил о невежестве. Чтобы быть отцом – не просто реальным отцом, но отцом Реального – какието вещи нужно с ожесточением игнорировать. Так, нужно определенным образом игнорировать все, что не относится к тому, что я попытался в последний раз описать в моем

тексте как уровень структуры – уровень, который задается явлениями, принадлежащими к разряду языковых. Именно тут натыкаемся мы на истину – с тем же успехом можно сказать, что мы об нее спотыкаемся. Удивительная вещь, но, оказавшись перед лицом этой абсолютной точки отсчета, тот, кто попытается ее придерживаться – а придерживаться ее, конечно, нельзя, – не будет знать, что он говорит.

Утверждая это, я не говорю чего-то такого, что может послужить уточнению позиции аналитика. Это значило бы – точнее, вы тут же заявили бы мне, что это значило бы – уравнять его с остальными. Разве найдется, в самом деле, человек, который знал бы, что он говорит? Рассуждение это ошибочно. Каждый говорит, это так, но сказать что-то удается не каждому. На границе этой в какой-то смысле фиктивной позиции дело, возможно, решает совсем другое – в какой дискурс субъект включается.

Есть некто, кто этой позиции целиком отвечает, и я без колебаний вам его назову, потому что именно ему мы обязаны тем интересом, который мы, аналитики, не можем не испытывать к иудейской традиции. Рождение психоанализа вне этой традиции было бы, пожалуй, просто немыслимо. Фрейд, который в ней вырос, настаивает, как я уже подчеркивал, на том, что в разработке сделанного им открытия доверяет лишь тем евреям, у которых умение читать – в крови; и которые живут – это и есть Талмуд – по книге. Тот, кого я хочу назвать, кто воплощает в себе эту радикальную позицию ожесточенного невежества, имеет имя – это сам Яхве собственной персоной.

Для Яхве, когда он обращается к своему народу, характерно то, что он с ожесточением игнорирует существование на момент своего появления целого ряда процветающих религиозных практик, основанных на знании определенного типа – на знании сексуальном.

Мы убедимся, когда будем говорить об Осии, насколько обвинения связаны именно с этим. Предметом его обличения являются отношения, в которых сверхприродные инстанции смешиваются с природой, которая в каком-то смысле от них зависит. Какое право имеем мы говорить, что все это ни на чем не основано, что способ снискать благо-

склонность Ваала, который, в ответ, оплодотворял землю, не соответствовал чему-то такому, что действительно могло оказываться действенным? Мы ничего не знаем об этом исключительно потому, что явился Яхве, а с ним возник определенный дискурс, который я пытаюсь представить в этом году как изнанку дискурса психоаналитического – дискурс господина.

Является ли позиция Яхве той самой, что психоаналитику надлежит занять? Конечно нет. Аналитик – должен ли я признаться, что испытал это на себе? – аналитик не испытывает той ожесточенной страсти, что так поражает нас в Яхве. В другой перспективе, скажем, буддистской, рекомендующей своим адептам избавиться от трех основных страстей, в число коих входят любовь, ненависть и невежество, позиция Яхве представляется крайне парадоксальной. Что в этом религиозном явлении действительно изумляет, так это то, что все эти три страсти Яхве не чужды. Любовь, ненависть, невежество – все они дают о себе в его речи знать.

Позицию аналитика – я не буду сегодня рисовать на доске мою схемку, где на место аналитика указывает объект *a*, расположенный вверху слева – отличает то, что он этим страстям непричастен. Только в этом смысле и можно о пресловутой аналитической нейтральности говорить. Из-за этого он вечно находится в неопределенной зоне, в смутном поиске осведомленности, стараясь идти в ногу с тем знанием, от которого, между тем, сам же отрекся.

Сегодня нам предстоит прислушаться к разговору Яхве со своим народом, а также понять, о чем думал Зеллин и на что может открыть нам глаза бесспорная близость его к воззрениям Фрейда, который, немало заимствовав у него, останавливается на полдороге и, превращая проблему отца в своего рода мифический узел, цепь короткого замыкания, совершает промах, оборачивающийся для него неудачей.

Я уже говорил вам, что эдипов комплекс – это сновидение Фрейда. Как и всякое сновидение, оно нуждается в истолковании. Важно увидеть, где происходит эффект смещения, то есть эффект, который может возникнуть на почве неувязок в письме.

У Фрейда, если попытаться его подход воспроизвести,

реальный отец заявляет о себе в том, что имеет отношение исключительно к отцу воображаемому – в запрете на наслаждение. С другой стороны, Фрейд не проходит мимо того, что делает его главной фигурой. Речь идет о кастрации, которую я только что имел в виду, говоря, что там, на месте реального отца, возникает порядок вещей, основанный на ожесточенном невежестве. Показать это мне будет, надеюсь, тем более легко теперь, когда с помощью Зеллина мы многое для себя уяснили.

Вот посему я позволю себе сначала задать г-ну Како несколько вопросов. Он прекрасно знает, поскольку я ему это на разные лады втолковывал, в чем для нас суть проблемы – почему и в каком отношении нуждался Фрейд в Моисее?

Важно, конечно, чтобы аудитория имела представление о том, кто он, Моисей, такой. Текст Зеллина и начинается, собственно, с вопроса – *кем был Моисей?* После этого он делает краткий обзор того, что думали на эту тему его предшественники и современники, его коллеги.

Невозможно пролить хоть какой-то свет на этот вопрос, не поняв прежде, с какого времени заявил о себе в истории Яхве.

Был ли Яхве богом Авраама, Исаака и Иакова? Имеем ли мы дело с достоверной традицией? Или, напротив, традиция эта была переиначена задним числом основателем новой религии, Моисеем, когда у подножия горы Хорев – точнее, на вершине ее – он принял от Господа – записанные, обратите внимание – скрижали Закона? Разница, сами понимаете, очень большая.

Книга Зеллина вращается, собственно говоря, вокруг следующей темы – *Mose und seine Bedeutung für die israelitisch-jüdische Religionsgeschichte*.

Что навело Зеллина на мысль о том, что Моисей был убит? Это вопрос, которого я не хочу касаться, предоставляя его всецело г-ну Како. Ясно, что это тесно связано с тем обстоятельством, что Моисей рассматривается как пророк. Почему, будучи пророком, должен он поэтому быть убит? Точнее говоря, Зеллин полагает, что Моисей умер мученической смертью именно в связи с пророческим своим достоинством.

Вот то, что г-н Како соблаговолит нам сейчас разъяснить.

[*Доклад г-на Како. Смотри приложение* В *на стр. 261*]

## 2

Кое-что в ходе мыслей Зеллина вызывает у меня удивление. Мы не можем, конечно, вынести относительно его соображений окончательного суждения, но даже если мы предположим, что текст действительно позволяет прийти к заключениям, которые, пытаясь восстановить смысл, он в нем дешифрует, ничто еще не говорит о том, что текст этот, если можно его так назвать, или эта огласовка его, могли быть кем-нибудь поняты. Утверждая, к примеру, что 25-й стих *Чисел* скрывает событие умерщвления Моисея, мы оказываемся в плену двусмысленности.

В мире Зеллиновой мысли, которая к категории бессознательного, я думаю, не прибегала, гипотеза о попытке скрыть происшедшее в Ситтиме событие совершенно бредовой выдумкой не выдерживает никакой критики.

Но интерес истории как раз и заключается в скрытых возможностях толкования, реализуемых при подобном подходе.

С известной вероятностью можно предположить, что Фрейд утвердился в мысли, будто речь идет о предполагаемом воспоминании, которое он может в психоаналитическом регистре реконструировать, – воспоминании, непреднамеренно заявлявшем о себе вопреки сильному сопротивлению. Остается, тем не менее, странным, что гипотеза эта опирается на тексты и именно с помощью текстов может быть дешифрована.

Джонс утверждает, что Фрейд якобы получил от Зеллина признание в том, что тот, в конечном счете, не был в своих результатах так уж уверен. Вы, кстати, тоже только что упомянули о том, что во втором издании он к этому вопросу вернулся.

Г-н Како: – *Во втором издании Зеллин включил данное*

*им в 1922 году толкование в главы V и IX. С другой стороны, правда, выдвигать свою гипотезу о смерти Моисея в работах, посвященных знаменитому мужу скорбей из Второ-Исайи, Зеллин не стал. Он сохранил, возможно, свое мнение о смерти Моисея, но отказался пользоваться им для истолкования главы из Второ-Исайи. Не исключено, что Фрейд попался на удочку академического престижа Зеллина.*

Вопрос в том, читал ли Фрейд его работу достаточно внимательно.

Г-н Како: – *Я полагаю, что да. Зеллин выражает свои мысли ясно и строго. Выводы ошибочны, но изложение ясно.*

Это правда. Но Фрейд совершенно на его аргументацию не опирается. Он просто сообщает, что некто Зеллин выдвинул в последнее время весьма правдоподобную гипотезу о том, что Моисей был убит. Замечание очень беглое и содержит библиографические данные книжки, которая находится в нашем распоряжении, но это все. Я только что сказал вам, что, если верить Джонсу, в работе 1935 года, то есть более поздней, нежели те, с которыми мы сами справлялись, Зеллин оставался при своем мнении.

До сих пор я не слишком злоупотреблял усилиями, на которые вас подвиг и за которые приношу благодарность, но сейчас было бы интересно услышать от вас, после того, что я хочу здесь сказать, ваше мнение о смысле пророчеств Осии, с этими мелкими деталями никак не связанном.

Важным моментом является использование им того *'ich*, о котором я вам в прошлый раз говорил. Новизна Осии заключается, если я правильно понял, в этом призыве – призыве совершенно особого типа. Я надеюсь, все, вернувшись отсюда, возьмутся за Библию, чтобы получить представление о тоне, в котором говорит Осия. Перед нами Яхве, обращающийся к своему народу с длинной речью, исполненной яростных, поистине сокрушительных обвинений. Говоря с вами об Осии до своего знакомства с книгой Зеллина, я признался, что не нашел ничего, что хотя бы в малейшей

степени о гипотезе Зеллина напоминало, отметив, однако, по ходу дела ту важную роль, которая принадлежит у Осии обличению ритуалов священной проституции и, наоборот, своего рода предложению со стороны Яхве, объявляющего себя супругом. Именно это место можно считать началом долгой традиции, достаточно загадочной – и далеко не очевидно, на мой взгляд, что смысл ее мы вполне способны себе уяснить – традиции, в которой Христос выступает как жених Церкви, а Церковь – как супруга Христова. Начало ее лежит именно здесь – до Осии ни о чем подобном не было речи.

Термин, который используется здесь для обозначения супруга, *'ich*, это тот самый термин, который во второй книге *Бытия* служит для именования супруги Адама. В первый раз, когда о них идет речь, то есть в стихе 27 первой главы книги Бытия, где Господь *мужчину и женщину сотворил их*, использованы, если не ошибаюсь, слова *zakhar* и *nekevah*. Во второй раз – в Библии все повторяется дважды – именно *'ich* обозначает существо, предмет, и, в форме *'ichâ*, ребро. Как подгадали – всего-то маленькое *a* и надо прибавить.

Не могли бы вы сказать несколько слов об употреблении этого слова – существует ли для того же другой термин, еще менее окрашенный сексуальностью, нежели этот?

Г-н Како: – *Значения, связанные с брачными отношениями, составляют лишь малую часть всего спектра значений* 'ich*, именующего, в первую очередь, человека вообще. Это все равно что сказать по-английски* my man*, имея в виду своего мужа. По-французски* mon homme *носит даже несколько фамильярный оттенок.*

В следующем стихе сказано – *Я хотел бы зваться твоим супругом*. Напрашивается сопоставление с термином *Ваал*, который тоже порой принимает аналогичный смысл, обозначая одновременно господина и повелителя в смысле супруга.

Г-н Како: – *Терминология здесь исключительно зыбкая. У Осии круг значений сужен, чтобы Яхве удобнее было противопоставить Ваалу.*

Эта разница всемерно подчеркивается, оставаясь, несмотря на столетние усилия комментаторов, довольно неясной. Это весьма любопытно.

Г-н Како: – *Эта брачная метафора появляется здесь в библейском тексте впервые. Именно она позволила позже, в* Песне песен, *перевести эту тему в план аллегории. Именно благодаря тексту Осии эта аллегория и стала возможной. Мне даже думалось, что мы, наверное, имеем здесь дело со своего рода демифологизацией, с переносом на общину Израиля черт богини, которая в семитских религиях является супругой Ваала. У Осии действительно есть места, где Израиль описывается как богиня. Но прямо это нигде не сказано.*

Это очень важно. Именно вокруг этого вращается, в конечном счете, та мысль, которую я начал было только что развивать. Вы раньше не обращали на это мое внимание.

Г-н Како: – *Создается впечатление, что религия пророков заменяет богиню самим Израилем. Это как раз и происходит у Осии – он заменяет ее народом Израиля.*

Учитывая, что время позднее, полагаю, что здесь нам надо остановиться.

*15 апреля 1970 года.*



# ИЗНАНКА СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

# X
# РАЗГОВОР НА СТУПЕНЯХ ПАНТЕОНА

*Аффекты.*
*Философия и психоанализ.*
*Наука и психоанализ.*
*Студент и пролетарий.*

*[Поскольку юридический факультет на улице Сен-Жак оказался закрыт, встреча с относительно небольшим числом участников семинара состоялась на ступенях Пантеона. Многие вопросы, в записи неразличимые, в данном тексте отсутствуют.]*

Я хотел бы получить разъяснения по поводу неприятного инцидента, из-за которого мы здесь оказались. Ну, а пока я готов ответить на ваши вопросы.

X: *[О диалектике Гегеля.]*

Я сообразил на этих днях, что о функциях господина и раба, заимствованных мною из диалектики Гегеля, мне уже приходилось говорить раньше, причем более детально, чем я делаю это теперь.

Я никогда не говорю ничего, что не было бы продумано мною раньше, так что об этом можно было догадываться. Но другое дело вернуться к тексту моего семинара, которые всегда, как вам известно, стенографировались.

В ноябре 1962 года, ведя в госпитале Святой Анны семинар, посвященный тревоге, я, начиная, если не ошибаюсь, со второй лекции, четко обозначил нечто такое, что идентично, в принципе, тому, что говорю я сейчас о дискурсе господина. Я указал тогда на различия между позициями господина и раба как описаны они в *Феноменологии духа*. Именно это послужило отправной точкой для Кожева, который всегда тщательно обходил то, что у Гегеля этому моменту предшествовало, – но я заостряю ваше внимание совсем не на этом.

Те же мысли, которые я развиваю сейчас относительно дискурса господина, определили в свое время и способ моего подхода к тревоге.

Один человек, в мотивы которого я предпочту не вдаваться, написал целый доклад, который должен через два дня выйти в свет, где в примечании он обличает меня в том, что я, мол, отодвинул на задний план, а то и вовсе положил под сукно, такое понятие, как *аффект*. Неправда, будто я забываю об аффекте – напротив, благодаря их стараниям я испытываю его на собственной шкуре. Весь семинар этого года выстроен вокруг тревоги как аффекта – того центрального аффекта, вокруг которого все и упорядочивается. Поскольку тревога выступает у меня как основополагающий аффект, даже к лучшему, пожалуй, что я он с колыбели не был мне чужд.

На самом деле я всего-навсего отнесся всерьез, говоря о причинах *Verneinung*, к тому, о чем недвусмысленно заявляет сам Фрейд – что вытесняется вовсе не аффект. Именно в связи с этим и вводит Фрейд пресловутый термин *Repräsentanz*, который я, в отличие от многих других, упорно, и не без определенных на то причин, передающих его как *представительное представление*, перевожу как *представитель представления*, что далеко не одно и то же. В одном случае, представитель сам не является представлением, в другом – это всего лишь представление наряду с прочими. Эти два перевода отличаются между собою принципиально. По моей версии аффект в результате вытеснения оказывается смещен, не поддается идентификации, ускользает – его корни становятся от нас скрыты.

В этом суть вытеснения. Аффект не подавляется – он смещается, становится неузнаваем.

X: *[Об отношениях экзистенциализма и структурализма.]*

Именно так – как если бы экзистенциалистская мысль была единственной гарантией возможности обратиться к аффекту.

X: – *Как связана ваша концепция тревоги с концепцией Киркегора?*

Вы представить себе не можете, каким мыслителем меня выставляют. Стоит мне о ком-нибудь упомянуть, как меня тут же зачисляют в его последователи. Это типично университетское головокружение. Почему бы мне, на самом деле, о Киркегоре не упомянуть? Ясно ведь, что придав в икономии – так как речь идет именно об икономии – такое значение тревоге, я не вправе был умолчать о том, что нашелся в один прекрасный момент человек, с которым связано выявление, обнаружение, не тревоги, конечно, а понятия тревоги, как сам Киркегор одну из своих работ озаглавил. И не случайно, конечно, понятие это явилось на свет в определенный исторический момент. Об этом я как раз и хотел сегодня утром с вами поговорить.

Я не единственный, кто провел эту параллель с Киркегором. Вчера я получил книжку Мануэля Диегеза. В ней он много всякого обо мне пишет. Поскольку мне нужно было готовиться к нашему занятию, а происходило это в последний момент – то, что я говорю, принимает окончательный вид за несколько часов до встречи – все, что я пишу и вам рассказываю, ложится на бумагу обычно где-то между пятью и одиннадцатью часами утра – у меня не было времени сориентироваться в куче имен, с которыми меня связывают, находя мне предшественников не только в Киркегоре, но в Оккаме и Горгии. Все это в книге есть, как и многое из того, что я здесь вам рассказываю. Это довольно редкий случай, потому что половина книги, где меня не цитируют, называется *Лакан и* – держу пари, что не угадаете – *трансцендентальный психоанализ*. Это стоит прочесть. Лично меня это удручает. Я не считаю себя таким уж трансцендентальным, но со стороны, наверно, виднее. Как говорил мне один тип по поводу публиковавшихся о нем книг – *Чего-чего, дорогой мой, а идей у нас с вами хватает.* Довольно об этом.

X: – *Считаете ли вы, что идеи, которые вы выносите из психоаналитической практики, дают вам нечто такое, к чему помимо нее вы не смогли бы прийти?*

Я так считаю – почему и обрекаю себя вот уже восемнадцать или девятнадцать лет на такие труды. Иначе не представляю себе, зачем бы я это делал. И я не вижу причин числить мое имя среди философов – это, по-моему, не совсем оправдано.

X: – *Не могли бы вы вернуться к тому, что начали было говорить о Гегеле?*

Я не собираюсь проводить здесь семинар, который предназначался для сегодняшнего утра. Я остался здесь не для этого. Я лишь пользуюсь случаем узнать, что иные из вас хотели бы мне сказать, так как в аудитории сделать это не просто.

X: – *Вы говорили о Другом как сокровищнице означающих и еще вы говорили, что мы с ним не сталкиваемся. Может ли оно включать в себя вещи бессвязные? Означающее не обязательно представляет собой нечто связное.*

Вы действительно уверены, что я говорил то, что вы мне приписываете? Когда это я говорил, что с другим не сталкиваются? Мне кажется, я ничего подобного не говорил. Это было бы странно. Если я и сказал такое, то разве по неловкости, но подобная неловкость с моей стороны была бы не менее странной.

X: – *[Вопрос неслышен]*

Я нападаю на философию? Это преувеличено.

X: – *Создается такое впечатление.*

Это всего-навсего впечатление. Меня спросили только что, не считаю ли я, что вещи, которые я говорю, могут оказаться проблематичными. Я ответил, что да. Я говорю их лишь потому, что за ними стоит конкретный опыт, опыт аналитический. Не будь этого, я не считал бы себя вправе, да и не имел бы желания, продолжать философский дискурс долгое время спустя после того, как с ним было покончено.

X: – *Но это преображает его.*

Нет, это его не преображает. Психоанализ – это другой дискурс. Именно это и пытаюсь я вам внушить, напоминая, по мере сил, тем, кто не имеет об аналитическом опыте представления, что именно таков, по крайней мере, его девиз. Именно из этого я исхожу. В противном случае дискурс этот не был бы с точки зрения философской настолько проблематичным, о чем и напомнил только что присутствующий здесь господин, который, первым взяв слово, перевел его на язык софистики. Я не думаю, что это так. Автор, о котором я только что говорил, выставляет меня на вид, помещая в центр той мешанины, которую являет собой современный философский дискурс с его трещинами и дырами. Сделано это неплохо, с исключительной симпатией, но при первом знакомстве – позже я, может быть, изменю свое мнение – мне сразу подумалось, тем не менее, что ставить меня в этот ряд – это явное *Entstellung*, смещение того смысла, который я в свои слова вкладывал.

X: – ***То, что вы говорите, всегда децентрировано по отношению к смыслу, вы бежите от смысла.***

Именно это, наверное, и делает мой дискурс дискурсом аналитическим. Сама структура аналитического дискурса этого требует. Я, скажем так, придерживаюсь его, насколько могу – чтобы не сказать, что совпадаю с ним, когда везет, совершенно, что было бы самонадеянно.

Вчера в журнале *Бессознательное*, который я, по личным причинам, никогда, как правило, не открываю, я обнаружил поразительную статью. В последнем номере этого журнала никто иной, как Корнелиус Касториадис собственной персоной рассматривает мой дискурс с точки зрения его отношений с наукой. И что же он говорит? Да то самое, что не устаю твердить и я сам, то есть что дискурс этот соотносится с наукой строго определенным образом. То, в чем он видит трудность моего дискурса, то есть, поясняю, то смещение, что не прекращается у меня никогда, и есть как раз необходимое условие аналитического дискурса, почему и можно утверждать, что дискурс этот я не сказал бы, что совпадает с научным, но обусловлен им – обусловлен

постольку, поскольку этот последний не оставляет человеку никакого места.

Я как раз собирался сделать упор на этом сегодня утром. Но не годится открывать тему, на которую у нас с вами через неделю предстоит разговор.

X: – *По поводу тревоги – я полагал, что она представляет собой противоположность наслаждения.*

То, на чем я делаю особый упор, говоря об аффектах, это тревога – совершенно особый аффект, отличающийся от других тем, что он, якобы, лишен объекта, беспредметен. Взгляните на все, что о тревоге было написано, и вы увидите, что все твердят одно – страх имеет предмет, тогда как тревога, якобы, беспредметна. Я же утверждаю, напротив, что тревога небеспредметна. Я сформулировал эту идею уже давно и, как видно, мне придется и дальше вам ее растолковывать.

В то время я еще не назвал его, этот предмет тревоги, избыт(очн)ым наслаждением, и это говорит о том, что прежде, чем ему это именование дать, предстояло многое сделать. Это, строго говоря... я не могу дать ему имя, потому что это, собственно говоря, имени не имеет. Да, это избыто(чно)е наслаждение, но хотя приблизительно его так обозначить, передать, можно, предмет этот неименуем. Вот почему для передачи того, о чем идет речь, пришлось воспользоваться термином прибавочной стоимости. Иной подход к этому объекту, без которого тревоги нет, до сих пор не был, похоже, найден. Это то самое, чему я в течение многих лет постепенно придаю все более определенную форму. Что дало, между прочим, многим болтунам повод сделать поспешные заключения относительно того, что я под объектом *a* имею в виду.

X: – *[Вопрос неслышен]*

В моей схеме университетского дискурса *a* занимает место чего? Место, скажем так, объекта эксплуатации в университетском дискурсе, который найти нетрудно – это студент. Размышляя над этой записью, можно объяснить

немало любопытных явлений, происходящих в современном мире. Есть разница, конечно, между радикальными его проявлениями – это как раз то, что на наших глазах и произошло – и теми способами, которыми функция университета поддерживается, латается, подновляется, что может продолжаться исключительно долго. Функция эта имеет, на самом деле, вполне определенное назначение, всегда связанное с состоянием дискурса господина – с тем, насколько он выходит наружу. Ведь он, дискурс этот, весьма долго выступал, на самом деле, в замаскированной форме. Сейчас внутренняя необходимость заставляет его все чаще эту маску сбрасывать.

Чему служил Университет? Функцию его можно проследить от эпохи к эпохе. Сейчас, в связи с тем, что дискурс господина обнаруживает себя все более неприкрыто, дискурс Университета не то, чтобы поколеблен или упразднен, нет, но встречается с неожиданными трудностями. Подход к этим трудностям нужно искать со стороны тесной связи его с положением студента, который всегда идентифицируется в нем, в более или менее завуалированной форме, с объектом *a*, предназначенным произвести на свет что? – Перечеркнутое *S*, которое вы находите внизу справа.

В этом-то и заключается трудность. Продуктом производства оказывается субъект. Субъект чего? Так или иначе, это субъект разделенный. Нынешний ход событий показывает, что положение вещей, когда операция эта сводится к подготовке преподавателей, становится все менее и менее терпимо и требует оценки тем более импровизированной, что она вот-вот будет поверена фактами. То, что сейчас происходит и что все называют кризисом Университета, вполне укладывается в эту формулу. Он требует этого, поскольку основы ее лежат на самом что ни на есть радикальном уровне. Нельзя ограничиваться отношением к ней как к факту. Оценить то, что происходит сейчас в Университете, можно лишь исходя из положения, которое занимает университетский дискурс среди трех других в моей поворотной, революционной – в несколько ином смысле, чем это слово употребляют обычно – формуле.

X: – *[О революционерах и пролетариате.]*

Пролетарий? Когда это я говорил о пролетарии? На уровне дискурса господина его место очевидно. У истоков своих дискурс господина имел дело с тем, что возникло первоначально в качестве пролетариата, бывшего тогда рабским сословием. Мы возвращаемся, таким образом, к гегелевскому термину. Раб, как я уже подчеркивал, являл собой поначалу знание. Эволюция дискурса господина связана именно с этим. Роль философии состояла в том, чтобы выстроить знание господина – знание, похищенное у раба. Наука в том виде, в котором она существует сегодня, в этом функциональном преобразовании, собственно, и состоит – в той или иной степени мы всегда оказываемся на грани архаики, и я, как вы знаете, призываю вас к осторожности.

Но как бы то ни было, в знании действительно заложена трудность, состоящая в противоречии между *умением*, с одной стороны, и *эпистемой* в собственном смысле слова, с другой. *Эпистема* возникла как результат вопрошания, очищения знания. Философский дискурс показывает, что философ всегда на нее опирается. Не случайно он обратился с вопросами к рабу и показал тому, что тот знает – причем знает то, чего не знает. При этом умалчивается, однако, о том, что знает он лишь постольку, поскольку ему задают правильные вопросы. Именно таким образом произошел сдвиг, в результате которого научный дискурс оказался на стороне господина. Именно с этим положением дел нам теперь невозможно справиться.

X: – *Но где все-таки место пролетария?*

Он может быть только там, где он должен быть – вверху справа. На месте большого Другого, правда? Строго говоря, знание его более не отягощает. Пролетарий не просто подвергается эксплуатации – это тот, у кого функция знания была отнята. Пресловутое освобождение раба имело, как водится, свои темные стороны. Оно не является чисто прогрессивным. Ценой за прогресс оказывается лишение.

Я не стану делать далеко идущие выводы на этой почве, я буду соблюдать осторожность, но в тематике, именуемой

маоистской, есть нечто такое, что меня удивляет – это значение, которое они придают знанию работника ручного труда. Я не претендую на компетентность в этом вопросе, я лишь отмечаю деталь, обратившую на себя мое внимание. Тот факт, что знание эксплуатируемого подвергается переоценке, глубоко мотивирован, на мой взгляд, самой структурой. И речь идет, если, конечно, все это не чистой воды мечта, именно о знании. Может ли в мире, где возникло и существует, присутствует не просто мысль о науке, но наука как таковая, наука, в каком-то смысле объективированная, то есть, я хочу сказать, вещи, только науке обязанные своим существованием, затейные штучки, обитающие в одном пространстве с нами, – может ли в таком мире техническое знание-умение на уровне ручного труда получить достаточный вес, чтобы стать подрывным фактором? Вопрос стоит для меня именно так.

Что вы делаете со всем, что я говорю? Вы с помощью специальной машинки это записываете, а потом устраиваете вечера, говоря знакомым – приходите, есть пленка Лакана.

*13 мая 1970 года.*

# XI
# БОРОЗДЫ АЛЕТОСФЕРЫ

*Аффект существует один-единственный.*
*Объект* а *и* cogito.
*Наука и восприятие.*
*Размножение латуз.*

Много воды утекло со времени нашей последней встречи – я имею в виду апрельскую встречу, а не ту, что состоялась в другом месте и где многих из вас не было.

Обмен мнениями на ступенях Пантеона прошел на неплохом уровне, позволив мне в ответ на вопросы, отнюдь не беспомощные, обратить внимание на ряд моментов, заслуживающих уточнения. Именно так мне представляется дело спустя неделю. Но сразу после нашего разговора, во время беседы с тем, кто составил тогда мне компанию, меня не оставляло впечатления известной неадекватности.

Даже лучшие из говоривших, чьи вопросы были до известной степени оправданными, пребывают, как мне показалось, в растерянности. Это нашло отражение в том, что даже в дружеском разговоре, где о вопросах еще не было речи, мне нашли место в определенном ряду.

От места этого я отказываться не стану. Помню, что первым в этом ряду был Горгий, которому я здесь, якобы, каким-то образом вторю. Почему бы и нет? Беда в том, однако, что в устах человека, сославшегося на этого персонажа, значение которого мы теперь, возможно, недооцениваем, речь шла о ком-то, кто принадлежал истории мысли. Это и есть тот шаг назад, который представляется мне постыдным – ведь это позволяет указать любому его место, определив, насколько отстоит его мысль от того или иного из тех, кто числится по разряду мыслителей.

Мне кажется, однако, что нет ничего менее, если можно так выразиться, однородного, чем этот разряд – ничего, что позволяло бы дать ему родовое определение. Мы не вправе на каком бы то ни было основании приписывать кому бы

то ни было функцию, которая являлась бы родовой, представляя собой мысль как таковую. Мысль не является категорией. Я сказал бы даже, что это аффект. При этом среди аффектов ей принадлежит едва ли не основное место.

Сказать, что аффект имеется один-единственный, значит занять определенную позицию – позицию в мире относительно новую, по поводу которой я замечал уже, что ее необходимо соотнести со схемой, которую рисую я для вас на доске, говоря об аналитическом дискурсе. На самом деле, нарисовать ее на доске – это совсем не то же самое, что о ней говорить. Я помню, что в Венсенне, когда мне пришлось выступать там – другой случай мне не представился, но еще представится обязательно – кто-то счел нужным крикнуть, что есть, мол, реальные вещи, которые действительно всех собравшихся занимают. Он имел в виду тусовку, которая происходила тогда где-то совсем в другом месте – это там решались важные вещи, а классная доска, мол, с действительностью ничего общего не имеет. Тут он как раз ошибался.

Я бы сказал даже, что если есть где-то шанс что-то такое, что именуют реальным, постичь, так это именно на этой доске. Больше того, все, что я по этому поводу могу сказать, все, что приняло форму речи, связано не с чем иным, как с тем, что написано на доске.

Это факт. И доказан он изобретением, которое представляет собой наука – изобретением, которое отнюдь не состряпано, как напрасно многие полагают, на философской кухне. Метафизическая наука даже, пожалуй, более, чем физическая. Заслуживает ли наша научная физика название метафизической? Это следует еще уточнить.

Уточнить же это возможно, мне кажется, исходя из психоаналитического дискурса. И в самом деле, исходя из этого дискурса, имеется только один аффект – это продукт включения говорящего существа в дискурс, возникающий постольку, поскольку этот дискурс определяет его как объект.

Именно поэтому получает такую исключительную ценность картезианское *cogito*, если посмотреть на него по-новому – как именно, я сейчас для начала снова вам объясню.

## 1

Я только что говорил об аффекте, в силу которого включенное в дискурс говорящее существо оказывается определено как объект. Но обязательно надо отметить, что объект этот неименуем. Если я называю его избыт(очн)ым наслаждением, то это лишь номенклатурное обозначение.

Что это за объект, представляющий собой эффект определенного типа дискурса? Об объекте этом нам неизвестно ничего – разве только что он представляет собой причину желания, то есть заявляет о себе, собственно говоря, как неудача быть. Другими словами, его нельзя определить как что-либо сущее.

То, на что подобный дискурс оказывает воздействие, может, конечно, быть сущим – человеком, к примеру, или просто живым существом, смертным и обладающим полом. Отсюда делают смелый вывод, что предмет психоаналитического дискурса именно в этом – недаром ведь речь в нем все время идет о поле и смерти. Но если действительно сделать нашим исходным уровнем тот, на котором впервые открывается нам, как начальная данность, то, что *выстроено как язык*, вывод будет совсем иным. Когда мы имеем дело с эффектом языка, ни о каком сущем не может быть речи. Речь идет лишь о говорящем существе. Мы отправляемся не от уровня сущего, а от уровня бытия.

Но и здесь нужно проявлять осторожность, остерегаясь иллюзии, будто бытие полагается именно таким образом, и не впадая в искушение уподобить все это начальному этапу диалектических построений, где фигурируют бытие и ничто.

Что касается эффекта – употребим теперь здесь кавычки – *«бытия»*, то его первый аффект дает о себе знать на уровне того, что становится причиной желания, то есть на уровне того, что мы, пользуясь нашим инструментарием, связываем с аналитиком – аналитиком как тем местом, которое я попытался определить с помощью маленьких букв, написанных на доске. Аналитик располагается именно здесь. Он выступает как причина желания. Позиция небывалая, если не парадоксальная, но принятая тем не менее психоаналитической практикой.

Оценить значение этой практики можно исходя из того, что выступает под названием дискурса господина. Речь идет не о каком-то отдаленном родстве или поверхностном сходстве, речь идет об их принципиальной связи друг с другом – именно дискурсом господина аналитическая практика, собственно говоря, инициирована.

Любую определенность субъект, а значит и мысль, черпают в дискурсе. В результате определенные вещи выступают наглядно: так, в дискурсе этом наступает момент, когда выясняется, кто господин. Ошибкой было бы полагать, что момент этот связан с риском. Что ни говори, а риск этот чисто мифический. Это след мифа, так и не изжитый в феноменологии Гегеля. Не является ли господином просто-напросто самый сильный? Это явно не то, что мы находим у Гегеля. Борьба за престиж и риск смерти принадлежат еще к царству Воображаемого. Что делает господин? Именно на это указывает артикуляция дискурса, которая показана на моих схемах. Он играет на том, что я назвал, в иных выражениях, кристаллом языка.

Почему бы не воспользоваться омонимическими возможностями, которые предоставляет нам французский язык, где *maître, господин*, созвучно *m'être, m'être à moi-même*, глаголу *быть* с возвратным значением. Именно отсюда берет начало термин *signifiant-m'être*, господствующее, владычное, означающее, орфографию второй части которого я предоставляю выбирать вам.

Это означающее, единственное в своем роде, действенно лишь в силу связи своей с тем, что уже имеется, уже артикулировано заранее, так что оно не мыслимо для нас помимо означающего, которое налицо, так сказать, от века. Если это единственное в своем роде означающее, означающее-*maître* – выбирайте орфографию сами – артикулируется на языке им предписанной практики, то это значит, что сама практика эта сплетена, соткана из того, что находится в ней покуда в неявном виде, из означающей артикуляции. Именно она лежит в основе всякого знания, даже там, где это последнее принимает поначалу форму умения.

Следы первоначального присутствия этого знания находим мы даже там, где оно давно стало предметом жуль-

ничества в так называемой философской традиции – в суждениях, прививающих к этому знанию господствующее означающее.

Не будем забывать, что в декартовом *я мыслю, следовательно, я существую*, это *я мыслю* и держится как раз на сомнении, на подозрительности по отношению к тому знанию, которое я только что назвал жульническим; знанию, давно переработанному вмешательством господина.

Что можем мы сказать о современной науке, позволяющей нам понять место, которое мы занимаем? Я выделю здесь – по слабым, чисто дидактическим соображениям – три уровня. Это наука, за ней философия, и далее, по ту ее сторону, нечто такое, о чем разве что библейские проклятия дают нам какое-то представление.

В этом году я уже уделил большое внимание тексту Осии в связи с тем, что извлек из него, опираясь на Зеллина, Фрейд. Главная ценность его не в том – хотя и это немаловажно – что он позволяет поставить под вопрос эдипов комплекс, названный мной *остатком мифа* в психоаналитической теории. Понадобись нам отыскать что-то такое, что воплощало бы в себе регулирующую жизнь людей стихию мифического знания – за гармоничность которого поручиться нельзя – трудно было бы, пожалуй, найти лучший пример, чем то, что Яхве, в ожесточенном неведении, обличает под именем проституции.

Взгляда в эту сторону вполне достаточно, на мой взгляд, так что обращаться, как это обычно делают, к этнографическим данным, вовсе не обязательно. Этнография вызывает в головах путаницу, поскольку принимает как естественное то, что ей было собрано. Собрано как? В письменном виде, то есть как нечто искаженное, разъятое, безнадежно оторванное от той почвы, из которой она стремится его происхождение вывести.

Я не хочу, конечно, сказать, что мифические знания способны лучше и полнее прояснить сущность отношений между полами.

Если психоанализ и претендует на то, чтобы показать обусловленность смерти полом – хотя все, что мы знаем наверняка, это бросающаяся в глаза связь различия полов

со смертью – то лишь постольку, поскольку он не слишком, правда, живо, но связно демонстрирует нам, что везде, где существо – кем бы оно ни было, пусть даже не существом вообще – оказалось пленено дискурсом, отношения между полами если и поддаются связному описанию, то лишь в форме необычайно сложной, о которой нельзя даже сказать, опосредована ли она, хотя посредники – *медиа*, если хотите – здесь налицо – одним из них и является как раз тот реальный продукт, который я называю избыт(очн)ым наслаждением, сиречь маленьким *a*.

О чем же, в самом деле, свидетельствует нам опыт? О том, что мужчина желает женщину лишь постольку, поскольку ее подменяет собой объект *a*. А также о том, что женщина имеет дело с тем, что выражению не поддается, с тем особым, присущим ей как женщине наслаждением, что репрезентируется где-то всесилием мужчины и оказывается тем, в силу чего этот последний, преподнося себя в качестве господина, обнаруживает собственную несостоятельность.

Именно из этого и надо в аналитическом опыте исходить – то, что может именоваться мужчиной, то есть человек мужского пола, самец как говорящее существо, пропадает, исчезает вследствие самого дискурса, дискурса господина, *maître* – орфография ваша – поскольку мужчина вписывается в него лишь под знаком кастрации, определить которую следует, на самом деле, как лишение женщины – некой (une) женщины, которая осуществила себя в подобающем для нее означающем.

Лишение женщины – вот что в плане несостоятельности дискурса означает кастрация. Ибо немыслимо, чтобы в режиме речи нашло свое выражение желание, возникшее как невозможное, которое превращает привилегированный женский объект в мать как нечто заведомо запретное.

Все это лишь строгое оформление того основополагающего факта, что мифическое единение мужчины и женщины, которое можно было бы определить как сексуальное, не имеет места.

Именно это и выступает на поверхность в аналитическом дискурсе – ни с каким единящим, целокупным Единым (l'Un unifiant, l'Un-tout) идентификация не имеет дела.

Главная, решающая идентификация – это единичная черта, это бытие, помеченное как *единица*, неопределенный артикль (un).

Эффект языка, а с ним и первый аффект, дает о себе знать до того, как какое бы то ни было сущее выходит на первый план – он дает о себе знать с появлением *единицы*, неопределенного артикля, того, что несет на себе ее метку. Именно об этом напоминают следующие формулы на доске.

$$\frac{1}{1+1} = ? \qquad \frac{\text{Я есмь нечто одно}}{\text{Я мыслю = следовательно я есмь нечто одно}}$$

Где-то обособляется нечто такое, что *когито* простонапросто маркирует, и тоже единичной чертой, – нечто такое, что можно предположить в *Я мыслю*, чтобы сказать *Следовательно, я есмь*. Уже здесь заметен эффект расщепления, сказавшийся в том, что в *Я есмь тот, который помечен единицей*, вторая часть, *тот, который помечен единицей*, опущена – Декарт прекрасно вписывается в схоластическую традицию, освобождаясь от нее лишь акробатическим сальто, которое в качестве способа заявить о себе заслуживает всяческой похвалы.

Лишь применительно к *Я есмь* в его первоначальной форме получает свое место *Я мыслю*. Вы помните, как я издавна пишу декартову формулу – *Я мыслю: «Следовательно, я существую»*. Это *Следовательно я существую* представляет собою мысль.

Такая запись гораздо убедительнее для характеристики знания, не выходящего за пределы пресловутого *Я есмь тот, который помечен единицей*, за пределы единственного, единичного, а значит, чего? – того эффекта, который и есть *Я мыслю*.

Но и здесь остается ошибка в пунктуации, которую я в свое время исправил так – *следовательно*, *ergo*, представляющее собой не что иное, как *эго*, о котором идет речь, следует оставить на стороне *cogito*. *Я мыслю следовательно: «Я существую»* – вот как выглядит истинное значение этой формулы. Причина, *ergo* – это мысль. Начинать надо отсюда, от того, что подразумевает простейший порядок,

где языковой эффект заявляет о себе на уровне появления единичной черты.

Конечно, единичная черта никогда не бывает одна. Тот факт, что она повторяется – повторяется, никогда не повторяя себя – и есть, следовательно, порядок как таковой; порядок, речь о котором заходит постольку, поскольку язык уже здесь, налицо, поскольку он уже в действии.

## 2

Первое из наших правил состоит в том, чтобы никогда не задаваться вопросом о происхождении языка, хотя бы потому уже, что оно достаточно выясняется из его деятельности.

Чем дальше мы в этой деятельности заходим, тем более его происхождение дает себя знать. Язык оказывает обратное действие – именно по мере развития обнаруживает он неудачу быть.

Обращу ваше внимание – мимоходом, так как нам нужно продвинуться сегодня немного дальше – что мы можем записать это, воспользовавшись, в самом строгом смысле, той формой, которая известна была в греческой традиции с тех пор, как они начали пользоваться символической записью, то есть вышли на уровень математики.

Я опираюсь здесь главным образом на Эвклида – его определение пропорции является первым и до него, то есть до текстов, которые дошли до нас под его именем, нигде не встречается – хотя кто знает, конечно, где он мог это строгое определение почерпнуть? Определение это, являющееся единственным настоящим фундаментом геометрических доказательств, фигурирует, если не ошибаюсь, в пятой книге Эвклида.

Термин *доказательство* является здесь несколько двусмысленным. Выдвигая на первый план содержащиеся в изображении интуитивные элементы, он оставляет в тени тот факт, что Эвклид стремится, строго говоря, к доказательству чисто символического порядка, к тому ряду равенств и

неравенств, который один способен подвести под пропорцию не приблизительный, а поистине доказательный фундамент *логоса* – слово, которое, собственно, пропорцию и означает.

Забавно и показательно, что пришлось дожидаться появления так называемой серии Фибоначчи, чтобы явственно обнаружило себя то, что уже дано было в усмотрении пропорции, именуемой средним пропорциональным. Я записываю ее на доске в том виде, в котором я пользовался ей, как вы знаете, в семинаре *От Другого к другому*.

$$\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+1}}} = \gamma$$

Романтическая традиция продолжает называть это *золотым сечением* и в поте лица отыскивает его во всем, что было когда-либо нарисовано и написано в красках, словно не уверенная до конца в том, что все это предназначено только для глаза. Откройте любую работу по эстетике, где затрагивается эта тема, и вы увидите, что в случаях, когда эту категорию можно к произведению применить, происходит это не потому, что художник позаботился провести диагонали заранее, а в своего рода интуиции, говорящей, что именно так будет лучше всего.

Нетрудно, однако, убедиться еще кое в чем. В результате последовательного деления образуется ряд, где за 1/2 последуют 2/3 и 3/5. Вы получите таким образом числа, последовательность которых представляет собой так называемую серию Фибоначчи, где каждый последующий элемент представляет собой, как я в свое время уже отмечал, сумму двух предыдущих. Отношение между двумя последовательными членами ряда можно записать, например, следующим образом: $u_{n+1} = u_{n-1} + u_n$. Результат деления $u_{n+1}/u_n$ и будет стремиться в пределе к той идеальной пропорции, которая именуется средним пропорциональным или, иначе, золотым сечением.

Воспользовавшись теперь этой пропорцией как картиной того, что происходит с аффектом при последовательном повторении *Я есмь нечто одно* от строки к строке, возникнет, задним числом, то, что этому служит причиной – аффект.

Мы можем теперь записать этот аффект как *равняется a*, и ясно станет, что перед нами то же самое *a*, что находим мы на уровне результата, эффекта.

$$\frac{1}{a+1} = a$$

Эффект повторения 1, единицы, и есть *a* на том уровне, который обозначен у нас здесь горизонтальной чертой. Черта означает, собственно говоря, что для того, чтобы единица оказало аффицирующее воздействие, должно нечто произойти. В целом эта черта и равна как раз *a*. И неудивительно, что его, аффект этот, мы можем с полным правом записать под чертой в качестве эффекта – эффекта, который мыслится здесь как то, что, наоборот, вызывает к жизни причину. Именно с первым эффектом и возникает причина как причина мысленная.

Это, собственно, и побуждает нас обратиться к азам математики и попробовать с их помощью четко артикулировать то, как с эффектом дискурса обстоит дело. И поскольку причина возникает в качестве мысленной, в качестве отражения следствия, именно на ее уровне соприкасаемся мы с изначальным порядком того, как обстоит дело с неудачей быть. Первоначально существо утверждает себя исходя из единичной метки, 1, а все, что за этим следует – это мечтание, как если бы она, единица эта, могла что-то объять собой, соединить в себе. Если она и способна что-то соединить, то лишь путем противопоставления, добавления к первому повторению единицы мысли о причине.

Это повторение не проходит даром – в результате его возникает, на уровне *a*, долг языка. Тот, кто вводит в обращение собственный знак, должен за это чем-то расплачиваться. В рамках терминологии, которая призвана сообщить этому *что-то* историческое измерение, я нарек его в этом

году – не в этом, на самом деле, но для вас будем считать, что в этом – именем *Mehrlust*.

Что же в этой бесконечной артикуляции воспроизводится? Поскольку *a* является здесь и там, по обе стороны формулы, одним и тем же, само собой разумеется, что повторение формулы не сводится, как всякий раз ошибочно утверждают феноменологи, к бесконечному повторению *я мыслю* внутри *Я мыслю*, а выглядит следующим образом – на место *Я мыслю*, будь оно осуществлено, может заступить лишь *Я есмь: «Я мыслю, следовательно Я есмь»*. Я есмь тот, кто мыслит *Следовательно я есмь*, и так далее до бесконечности. Обратите внимание, что маленькое *a* все время отдаляется, образуя ряд, воспроизводящий в одной и той же последовательности единицы, показанные у меня справа, и только последним членом окажется маленькое *a*.

$$\cfrac{1}{\cfrac{a+1}{a+1}} = a$$

Обратите внимание на то удивительное обстоятельство, что если по мере роста пропорции *a* в каждой строчке знаменателя сохраняется, то этого оказывается достаточно для того, чтобы равенство, записанное в первоначальной формуле, осталось справедливым, то есть чтобы многоэтажная пропорция давала в результате все то же маленькое *a*.

Что отличает этот ряд? Если я не ошибаюсь, то он просто является примером сходящегося ряда, где интервалы, будучи постоянными, наиболее велики. Одним словом, все то же маленькое *a*.

## 3

Эта формула носит, разумеется, частный характер. Она не претендует на то, чтобы окончательно выразить в четкой и выверенной пропорции то, как обстоит дело с первичным проявлением числа, то есть с единичной чертой. Она

призвана лишь напомнить о том, как обстоит дело с наукой в том ее виде, в котором мы ее на сегодняшний день имеем – то есть с наукой, чье присутствие в мире чревато чем-то таким, что выходит далеко за пределы любых умозрительных соображений о проистекающем из нее познании.

Не следует, как-никак, забывать о том, что характерно для нашей науки не то, что она расширила и усовершенствовала наши знания о мире, а в том, что она привнесла в мир вещи, которые для нашего восприятия не имели в нем места.

Науке пытаются приписать мифическое происхождение из восприятия – под тем предлогом, что та или иная философская традиция уделяла вопросу о гарантиях неиллюзорности восприятия значительное внимание. Но наука вышла не оттуда. Она вышла из того, что зародилось в эвклидовых доказательствах. Конечно, эти последние, с их привязанностью к фигуре, обладающей якобы очевидностью, остаются не вполне достоверными. Все развитие греческой математики свидетельствует о том, что зенитом ее постепенно становится манипуляция числом в чистом виде.

Возьмите хотя бы метод исчерпания, предвосхищающий, уже у Архимеда, то главное, что и выступает для нас в данном случае как структура, – *calculus*, исчисление бесконечно малых. Нет нужды дожидаться Лейбница, который, к тому же, подходит к этому делу поначалу не слишком умело. Начатки этого исчисления мы находим в попытке воспроизвести исследование параболы, предпринятое Архимедом, уже у Кавальери – тоже в семнадцатом веке, но гораздо раньше Лейбница.

Что из этого следует? Вы можете, конечно, сказать о науке, что, мол, *nihil fuerit in intellectu quod non prius fuit in sensu*, но что, собственно, это доказывает? Пресловутое *sensus* не имеет, как известно, с восприятием ничего общего. Оно присутствует в данном случае как нечто такое, что поддается счету и что сам факт подсчета немедленно рассеивает без следа. Возьмите, к примеру, то, что мы характеризуем как *sensus* на уровне уха и глаза – разве не сводится это к вычислению колебаний? А ведь именно благодаря этой игре чисел оказываемся мы способны воспроизводить

вибрации, не имеющие с нашими чувствами и с нашим восприятием ничего общего.

Как я недавно на ступенях Пантеона уже говорил, мир, который мы издавна привыкли считать своим, оказался теперь населен, причем именно там, где мы с вами находимся, огромным числом так называемых волн, о сложном взаимодействии которых мы порой и не подозреваем. В этом как раз и проявляется присутствие и существование науки. Нельзя игнорировать это и довольствоваться, описывая то, что окружает землю, такими терминами как *атмосфера*, или *стратосфера*, или иными *сферами*, обширность которых обусловлена границами нашего восприятия образующих ее оболочку частиц. В нашу эпоху необходимо отдавать себе отчет в существовании того, что выходит далеко за пределы этого и является следствием – чего? Знания, успехами своими обязанного не столько фильтровке, которой оно само себя подвергает, так называемой критике, сколько смелому импульсу, полученному от уловки – уловки Декарта, конечно, хотя другие могут предпочесть что-то иное – уловки, делающей Бога гарантом истины. Если истина есть, это его забота. Мы примем ее как данность.

Простая игра в истину, не абстрактная, а чисто логическая, строгая комбинаторика, требующая лишь того, чтобы были сформулированы, под названием аксиом, ее правила, чистая игра формализованной истины – вот на чем зиждется наука, не имеющая больше ничего общего с предпосылками, которые подразумевала испокон веку идея познания, то есть, иными словами, с присущей познанию молчаливой поляризацией, с той воображаемой идеальной унификацией, в которой всегда, в какие бы слова она ни облекалась – *endosunè*, к примеру – обнаруживается отражение, образ, к тому же вечно двусмысленный, двух начал – женского и мужского.

Пространство, в котором живут плоды научного творчества, приходится тогда квалифицировать не иначе, как *нематерию*, или *невещь что*. Факт, который в корне изменяет смысл исповедуемого нами материализма.

Древнейшая форма самовлюбленности господина, *maitre'a* – записывайте это слово, как вам больше нравится

– вот она: мужчина воображает, что создал женщину. Я полагаю, все вы на том или ином жизненном перекрестке с этой комичной историей на собственном опыте сталкивались. Форма, субстанция, содержание – как это ни называйте, но научная мысль призвана из пут этого мифа выпростаться.

Я полагаю, мне позволено здесь, чтобы лучше выразить свою мысль, поднимать слишком толстые пласты. Впрочем, я грешу, говоря, будто таковая у меня есть, тогда как на самом деле, как все вы знаете, речь не об этом – на самом деле мысль сама себя сообщает, и, конечно же, не обходится при этом без недоразумения. Так что давайте общаться и попробуем описать превращение, обусловившее отличие науки от любой теории познания.

На самом деле, такая постановка вопроса неправильна, поскольку именно благодаря научному аппарату и постольку, поскольку мы им владеем, оказывается возможным установить те ошибки, тупики и недоумения, которые в том, что выступало в качестве познания, неминуемо обнаружились – имея в виду при этом, что необходимо различать в этом познании два начала, формирующее и формируемое. Наука позволяет нам осязаемо это почувствовать, что лишний раз подтверждают те отголоски этого факта, которые мы обнаруживаем в аналитическом опыте.

Чтобы объяснить это, воспользовавшись приблизительными общими терминами, возьмем, к примеру, мужское начало – как сказывается на нем его пересечение с дискурсом? Ведь дело в том, что оказавшись существом говорящим, мужчина призван свою сущность – слово, которое надо здесь понимать иронически – как-то объяснить. Лишь благодаря аффекту – и только ему – который он в силу дискурсивного эффекта испытывает – лишь постольку, иными словами, поскольку он имеет дело с феминизирующим эффектом, известным вам как маленькое *а* – узнает он то, что делает его тем, что он есть, то есть причину своего желания.

И наоборот, на уровне пресловутого природного принципа, символом которого – в дурном смысле этого слова – всегда выступало женское начало, именно из *нематерии*, как я уже говорил, является пресловутая пустота – пустота чего? Если отдаленным горизонтом того нечто, о котором

мы сейчас говорим, должна стать у нас женщина, то место, где созидается – *операцией*, а не *апперцепцией* – наука, можно найти в том, что можно охарактеризовать как бесформенное, лишенное формы наслаждение. На место *апперцепции*, пресловутой первичной данности, должен, на самом деле, заступить *оперцепт*.

Опираясь на артикуляцию, берущую начало в означающем как таковом, наука выстраивается из чего-то такого, чего раньше просто-напросто не было.

Вот что важно понять, если мы хотим разобраться, как обстоит дело – с чем? С забвением самого этого эффекта как такового. По мере расширения поля, где наука берет на себя функцию дискурса господина, для всех нас, таких, какие мы есть, остается неизвестным – по причине, которая никогда не была нам известна – до какой степени каждый из нас задан с самого начала как объект *a*.

Я только что говорил о сферах, которыми наука – а она, что интересно, оказывается в определении того, как дело обстоит с сущим, весьма действенной – расширяясь, окружает землю, о последовательности зон, описываемых наукой по мере совершаемых ей открытий. Почему бы не сделать достоянием гласности место, где располагаются создания науки, если создания эти представляют собой не что иное, как эффект формализации истины? Как мы это место назовем?

Я, наверное, уделяю этому незаслуженно много внимания, так как гордиться тут особенно нечем, но я полагаю, что поставить этот вопрос, отнюдь не номенклатурного свойства, будет полезно – вы сами увидите, почему.

Речь идет о месте, вообще говоря, занятом – занятом чем? Я только что говорил о волнах. Речь идет именно о них. Ни об электромагнитных волнах, ни о каких других, никакая феноменология восприятия не дает нам ни малейшего представления и никогда, разумеется, нам бы их не открыла.

Ноосферой мы это место точно называть не станем – это значило бы населить его нами самими. В данном случае нет ничего, что отстояло бы дальше от интересующего нас предмета. Зато можно, мне кажется, воспользоваться, не перегружая его философскими эмоциями, словом ἀλήθεια и назвать нашу область, за неимением лучшего, *алетосферой*.

Здесь главное не запутаться. Алетосфера – ее можно записать. Если у вас есть с собой маленький микрофончик, считайте, что вы к ней подключены. Поразительно то, что находясь в космическом корабле, который несет вас к Марсу, вы все равно сможете к алетосфере подключиться. Более того, когда двое или трое людей отправляются погулять на луне – поразительный структурный эффект – не случайно, поверьте мне, остаются они, совершая этот подвиг, в алетосфере.

С маленькими неприятностями, которые с ними в последний момент приключились – я не имею в виду их отношения со своим средством передвижения, так с ним они, наверное, совладали бы сами – эти так называемые астронавты справились бы гораздо хуже, не сопровождай их все время маленькое *а* человеческого голоса. Благодаря этому сопровождению они могли позволить себе говорить одни глупости – что все, например, идет хорошо, пусть даже на самом деле все шло хуже некуда. Важно, что они оставались в алетосфере.

Чтобы познакомиться с вещами, которые ее населяют, нужно время, и нам придется найти для них еще одно слово.

Легко сказать, алетосфера. Мы говорим так в предположении, что моя так называемая формализованная истина уже имеет достаточно прочный статус истины на уровне, где она оперирует, на уровне *оперцепции*. Но что касается уровня оперируемого, того, что прогуливается, то истина остается на нем под покровом. Доказательством тому служит то, что человеческий голос, водящий нас, так сказать, на помочах, истины своей нимало не обнаруживает.

Для того, чтобы дать этому название, воспользуемся аористом того же глагола, от которого, как напоминает нам один знаменитый философ, происходит и ἀλήθεια. На такие вещи вообще обращают внимание только философы, да разве еще некоторые лингвисты. Итак, мы назовем это *латузами* (lathouses).

Мир все больше и больше населяют латузы. Вас, я вижу, это забавляет – я покажу сейчас, как это слово пишется.

Вы скажете, что я мог бы назвать их *латузиями*. Это сблизило бы их с *усией*, этим причастием, окруженным ореолом

двусмысленности. *Усия* – это не Другой, но это и не сущее, это что-то между ними двумя. Но это и не совсем бытие тоже, хотя очень ему близко.

Говоря о женской *нематерии*, я даже решился бы на слово *парусия*. Ну, а что касается тех крошечных объектов *а*, что вы, выйдя отсюда, встретите на каждом углу и в каждой витрине, кишащей предметами, призванными вызвать у вас желание, то поскольку бал среди них правит нынче наука, рассматривайте их как *латузы*.

Я замечаю задним числом, поскольку придумал это слово недавно, что оно рифмуется со словом *ventouse, присоска*. Что ж, *vent, ветер* в нем действительно есть, много ветра, ветер человеческого голоса. Смешно, что я только под конец нашей встречи обратил на это внимание.

Если бы мужчина, желая поверить, будто соединяется со своей женой, прибегал к уловке, именуемой Богом, не так усердно, слово *латуза* придумали бы, наверное, уже давно.

Как бы то ни было, новинка эта введена для того, чтобы к общению с ней, с латузой, вы подходили притрепетно.

Ясно, что каждый имеет дело с двумя-тремя образцами этой породы. Причины ограничивать свое размножение у латузы нет. Важно знать, что получается, когда мы действительно вступаем в отношения с латузой как таковой.

Идеальным психоаналитиком будет тот, кто на этот абсолютно радикальный поступок идет – зрелище того, что он делает, вызывает, по меньшей мере, тревогу.

Однажды, в те времена, когда делались попытки меня подкупить, я попытался, поскольку это было частью соответствующего церемониала, высказать на этот счет кое-какие соображения. Поскольку люди, с этой монетизацией связанные, и вправду делали вид, будто их интересует, что я могу сказать по поводу подготовки психоаналитиков, то я, при полном равнодушии аудитории, озабоченной лишь кулуарными интригами, заявил им, что нет причины, по которой психоанализ мог бы вызывать тревогу. Если латуза налицо, то тревога – ведь именно с ней имеем мы дело – явно не беспредметна. Вот из чего я исходил. Нужно найти к латузе наилучший подход – это может вселить в нас некоторое спокойствие.

Проблема в том, чтобы занять такую позицию, чтобы был некто, кем вы в связи с его тревогой занимаетесь и кто пожелал бы занять ту же позицию, которую вы удерживаете, или не удерживаете, или стараетесь удержать – кто пожелал бы узнать, как и почему вы ее удерживаете или, наоборот, не удерживаете.

Это и будет предметом нашей следующей встречи, тему которой я могу вам назвать уже сегодня – речь пойдет об отношениях, отраженных, как всегда, на наших маленьких схемах, между бессилием и невозможностью.

Невозможно, ясное дело, удерживать позицию латузы. Но невозможно не только это, есть множество других невозможных вещей – имея в виду, что мы говорим о *невозможном* в строгом смысле этого слова, то есть на уровне нашей формализованной истины. Речь идет о том, одним словом, что во всяком формализованном поле истины имеются такие истины, доказать которые невозможно.

Именно на уровне невозможного, как вы знаете, определяю я то, что представляет собой Реальное. Если наличие аналитика реально, то именно потому, что оно невозможно. Это является неотъемлемой частью позиции латузы.

Досадно лишь, что если мы хотим занять позицию латузы, необходимо действительно усвоить себе, что это невозможно. Именно по этой причине предпочитают обычно выдвигать на первый план бессилие, которое тоже существует, но занимает при этом, как я покажу вам, другое место, нежели невозможность в чистом виде.

Я знаю, что здесь присутствует несколько человек, которых огорчают порою мои, как говорят – интересно, как – инвективы, оскорбления, нападки в адрес психоаналитиков. Это молодые люди, которые сами психоаналитиками не являются. Они не отдают себе отчет в том, что это с моей стороны любезность, скромные знаки признания.

Я не собираюсь подвергать их слишком тяжелому испытанию. И когда я намекаю на их – то есть мое собственное – бессилие, я имею в виду, что на этом уровне мы все товарищи по несчастью и что надо так или иначе из этого положения выпутываться.

Надеюсь, я заручусь таким образом их вниманием, прежде чем заговорить с ними о невозможности позиции аналитика.

*20 мая 1979 года.*

# XII
# БЕССИЛИЕ ИСТИНЫ

*Фрейд и четыре дискурса.*
*Капитализм и Университет.*
*Злая шутка Гегеля.*
*Бессилие и невозможность.*
*Кто может сделать выкидыш?*

Наступило время года, сопряженное с тяжелыми испытаниями. Я попытаюсь по возможности их облегчить.

К счастью, как говорится, время терпит. Я был бы даже склонен, пожалуй, остановиться на уже сказанном, не считай я необходимым сделать два небольших дополнения, призванных раскрыть суть того, что мне удалось, надеюсь, в этом году до вас донести – два небольших задела на будущее, которые позволят вам, сфокусировав ваше внимание, разглядеть ту толику новизны, которой наши понятия – отмеченные, так или иначе, той печатью, на которую я всегда обращаю ваше внимание и наличие которой те, кто участвует вместе со мной в практической работе, могут, на уровне опыта, подтвердить – обладают.

Не исключено, что эти дополнения могут сослужить и другую службу, в связи с чем-то таким, что происходит сейчас вокруг нас, хотя мы и не отдаем себе в этом ясного отчета. Естественно, когда что-то происходит, то в момент, когда это происходит, мы не представляем себе, что это такое – особенно если имеет место так называемое информационное сопровождение. Но так или иначе, в Университете происходят события.

В известных кругах это вызывает недоумение. Какая муха укусила наших студентов, этих любимчиков, фаворитов, этих баловней цивилизации? Что с ними произошло? Те, кто так говорит, обязаны нас дурачить, они за это получают деньги.

Не исключено, однако, что кое-что из сказанного мною по поводу отношений между дискурсами господина и ана-

литика способно указать путь, который позволил бы до известной степени оправдать свои действия и прийти к взаимопониманию.

Сейчас каждый соперничает с другим, пытаясь преуменьшить значение неудачных и подавленных властями манифестаций, обреченных со временем становиться все более изолированными. Мотивировать происходящее, объяснить его, сейчас, когда я заявляю, что могу это сделать, означало бы – мне хочется, чтобы вы это поняли – что по мере того, как я преуспею в этом, как мне удастся хоть что-то вам объяснить, вы наверняка окажетесь в дураках. Ибо к этому, в конечном счете, все, будьте уверены, и сведется.

Сегодня мне хотелось бы как можно проще объяснить вам, какая связь существует между событиями, которые сейчас происходят, и вещами, которыми я с некоторого времени пытаюсь перед вами манипулировать – связь, которая дала бы определенную гарантию того, что мой дискурс имеет под собой прочные основания. Я иду здесь на то, чтобы манипулировать этими вещами способом, который, в конечном счете, иначе как диким не назовешь.

Я не останавливаюсь перед тем, чтобы говорить о Реальном, и притом уже давно, – более того, именно это и стало первым шагом моей преподавательской деятельности. Затем, с годами, выкристаллизовалась маленькая формула: невозможное – это Реальное. Бог свидетель, поначалу ей не злоупотребляли. Затем получилось так, что я заговорил в этой связи об истине, что вызывает гораздо меньше недоумения. Остается, однако, сделать несколько очень важных замечаний, и некоторые из них мне, полагаю, надлежит сделать сегодня, прежде чем я оставлю эту тему на милость тех, кто в простоте душевной начнет, как это порою в моем окружении водится, пользоваться ими ни к селу ни к городу.

## 1

Восемь дней назад я съездил в Венсенн – хочу специально подчеркнуть, что сделал я это по приглашению с их

стороны. Я, впрочем, в прошлый раз вам об этом сказал, так как хотел наставить вас на верный путь, сославшись на то, с чего я свое выступление в Венсенне начал и что само по себе далеко не безобидно – именно ради таких вещей Фрейда и стоит читать.

В работе Фрейда *Анализ конечный и бесконечный* мы действительно находим строки, касающиеся того, как обстоит дело с аналитиком.

Фрейд пишет, что напрасно было бы требовать от аналитика, чтобы психика его была абсолютно нормальна и безупречна, что встречается очень редко. Не надо забывать, замечает он далее, что аналитические отношения основаны на любви к истине, *unendlich ist nicht zu vergessen, dass die analytische Beziehung auf Wahrheitsliebe* ,а значит, *d. h. auf die Anerkennung der Realität gegründet ist*, то есть, иными словами, на признании реальностей. *Realität* – это слово, которое вы поймете, даже не зная немецкого, поскольку оно заимствовано из нашего родного латинского. В словоупотреблении Фрейда оно соперничает с другим словом, *Wirklichkeit*, которое тоже, в свою очередь, означает порою то, что наши переводчики, ничтоже сумняшеся, переводят все тем же словом *реальность*.

Мне вспоминается ярость, с которой спорили два аналитика, из которых один – надо назвать его по имени, так как это не случайный человек, это Лапланш, сыгравший в превратностях моих отношений с психоаналитическим сообществом определенную роль – с пеной у рта набросился на другого – которого я, коли уж назвал первого, назову тоже: это Кауфман, – высказавшего предположение, что *Wirklichkeit* и *Realität* означают у Фрейда разные вещи. Тот факт, что тот опередил его, первым высказав эту мысль, вызвала у него подлинный взрыв эмоций.

Показное презрение к таким тонкостям как-никак тоже явление небезынтересное.

Фраза оканчивается словами *gegründet ist und jeden Schein und Trug ausschliesst*, то есть *исключает из аналитических отношений всякую уловку, всякий обман*. Такие фразы, как эта, чрезвычайно насыщены содержанием. И тут же, из следующих строк, явствует, несмотря на дружеский

привет, адресованный аналитику Фрейдом, что никакого *das Analysieren* в конечном итоге нет. Мы здесь вплотную, по всей видимости, подходим к функции, которая именуется аналитическим актом. *Das Analysieren* означает не что иное, как аналитический акт – термин, использованный мною в качестве заглавия одного из моих семинаров. Аналитический акт оказывается, согласно Фрейду, третьей из перечисленных им *unmöglichen Berufe*, «невозможных», в кавычках, профессий.

Фрейд цитирует здесь самого себя, ссылаясь на якобы упоминавшиеся им уже – не помню где, я не успел справиться, должно быть, в переписке с Флиссом – три профессии, о которых идет речь и в качестве которых фигурировали у него в этом более раннем тексте *Regieren, Erziehen, Kurieren*, что было тогда, очевидно, общим местом. Анализ является новым занятием в этом списке, заменяя одно из предыдущих. Три профессии, если это вообще профессии, выглядят теперь так – *Regieren, Erziehen, Analysieren*, то есть *управлять, воспитывать, анализировать.*

Нельзя не обратить внимание на совпадение этих терминов с тем, что я выделил в этом году в качестве отличительных признаков четырех дискурсов.

Дискурсы, о которых идет речь, суть не что иное, как означающая артикуляция, инструментарий, чье присутствие, чей наличный статус, подчиняют себе любые укладывающиеся в него слова. Это дискурс без речи – речь приходит потом. Так что если мы хотим, упиваясь собственным словом, представлять себе иногда, что мы тем самым делаем, не лишне было бы, позволю заметить, знать координаты дискурса, в который мы его вводим.

Характерная для нынешнего мая месяца манера речи невольно наводит на мысль о том, что одним из представителей объекта маленького *a*, идущим не из истории даже, а, скорее, из времени доисторического, является, конечно же, домашнее животное. Мы не можем в этом случае использовать те же самые буквы, но для того, чтобы одомашнить то, что соответствует нашему $\$$, нужно было, ясное дело, какое-то знание – что собака, например, означает лай.

Напрашивается мысль, что если лай – именно это, то

есть лающее животное, то $S_1$ получает смысл, который вполне нормально будет отнести к уровню, где мы обычно его и располагаем, к уровню языка. Общеизвестно, что домашнее животное лишь вовлечено в язык первичного знания, само же языка не имеет. Ему ничего не остается поэтому, как возиться с тем, что из доступного ему к означающему $S_1$ ближе всего – с падалью.

Вы должны были бы это знать – ведь у вас наверняка была собака – сторожевая, скажем – поведение которой было вам хорошо знакомо. Падаль – они ее обожают, они ничего не могут с собой поделать. Возьмите Батори, эту очаровательную даму из Венгрии, которая любила время от времени разделывать на части своих служанок – когда занимаешь определенное положение, это, разумеется, самое скромное удовольствие, какое можно себе доставить. Так вот, стоило ей опустить кусочек пониже, как собаки его тут же хватали.

Это сторона собачьего характера, на которую обычно не обращают внимания. Если ее не баловать, давая ей за завтраком и обедом то, что нравится ей лишь потому, что получает она это из вашей тарелки, именно падаль она вам вечно и будет таскать.

Надо иметь в виду, что на уровне более высоком – на уровне объекта *a*, и притом другого рода, который мы попытаемся сейчас описать и который вернет нас к тому, о чем я уже говорил – роль падали с успехом может играть речь. Во всяком случае, она ничуть не более аппетитна.

В этом одна из главных причин того, что люди столь мало отдают себе отчет в важности языка. Манипуляцию этой речью, которая другой символической ценностью не обладает, путают с тем, что относится к дискурсу. Вот почему речь никогда не функционирует в качестве падали неизвестно где и неизвестно как.

Я сделал эти замечания для того, чтобы вы, удивившись, задали себе вопрос – почему, собственно, дискурс господина, усвоенный настолько хорошо, что работники продолжают работать независимо от того, эксплуатируют их или нет, сохраняет свое наименование?

С тех пор, как труд существует, он никогда еще не был в такой чести. Не работать вообще – такое просто исключено.

Именно это, однако, и говорит об успехе того, что я называю дискурсом господина.

Чтобы этого успеха достичь, ему пришлось, правда, определенные границы перешагнуть. Он приходит, одним словом, к чему-то такому, о чем я недавно вам говорил, пытаясь обрисовать происходящую в нем мутацию. Вы, я надеюсь, об этом помните, а если не помните – что не исключено – то я вам сейчас напомню. Я имею в виду ту капитальную мутацию, которая придает дискурсу господина новый, капиталистический стиль.

Почему, собственно, она происходит, если это не дело случая?

Ошибкой было бы полагать, будто есть где-то ученые политики, которые заранее рассчитывают все, что необходимо сделать. Полагать, будто таковых нет, тоже, впрочем, ошибочно – они есть. Другое дело, что находятся они не всегда на месте, где могут должным образом действовать. Но не в этом, в сущности, дело. Достаточно, чтобы они были, пусть даже и не на том месте, чтобы передачи механизма, который мы квалифицируем как смещение дискурса, могли заработать.

Каким же образом, спросим мы себя, общество это, именуемое капиталистическим, может позволить себе такую роскошь, как передышку от университетского дискурса?

Дискурс этот представляет собой, между тем, всего-навсего одно из преобразований, о которых я давно веду речь. Это разворот дискурса господина на одну четверть. Отсюда вопрос, которым стоит задаться – а не попадаем ли мы, позволяя себе эту передышку, которая нам действительно, надо сказать, предложена, в ловушку? Мысль эта не нова.

Мне случилось однажды написать небольшую статью об университетской реформе, которую заказал у меня единственная в наше время газета, занимающая, как известно, честную и взвешенную позицию, – газета *Ле Монд*. Они очень настаивали на том, чтобы я буквально страничку о реорганизации психиатрии, о реформе, для них составил. Поразительно, что несмотря на эту настойчивость статья, которую я, уже в свой черед, однажды опубликую, у них так и не вышла.

В этой статье я говорю о *реформе в воронке*. Все дело в том, чтобы в воронке этого вихря предпринять что-то в отношении университета. Отдавая себе верный отчет в том, как основные дискурсы выстроены, можно ведь, слава Богу, не действовать, если можно так выразиться, напропалую, можно семь раз подумать, прежде чем бросаться очертя голову навстречу открывающимся возможностям. Возиться с падалью в университетских коридорах – нешуточная ответственность.

Вот та ситуация, к которой наши сегодняшние замечания, отнюдь не расхожие и не привычные, должны быть привязаны.

## 2

$$\frac{S_2}{S_1} \rightarrow \frac{a}{\$} \qquad \frac{S_1}{\$} \rightarrow \frac{S_2}{a}$$

$$\frac{a}{S_2} \rightarrow \frac{\$}{S_1} \qquad \frac{\text{агент}}{\text{истина}} \rightarrow \frac{\text{работа}}{\text{продукт}}$$

Перед вами своего рода инструментарий. Нужно по меньшей мере представить себе, что это как рычаг, клещи, что это можно как-то собирать и свинчивать.

Здесь налицо несколько членов. Записывая их с помощью этих маленьких буковок, я поступаю так преднамеренно. Дело в том, что мне не хотелось вводить в формулу ничего, что оставляло бы впечатление, будто оно что-то обозначает. Я не хочу ничего обозначать, я хочу предоставить место. Предоставить место – это уже больше, чем просто записать.

О том, что создает места, куда эти незначащие знаки вписываются, я уже говорил – более того, я уже решил судьбу члена, названного мною *агентом*.

Термин *агент* является во французском языке откровенной загадкой – дело в том, что по форме слово это обозначает не того, кто делает, а того, кого заставляют действовать.

Отсюда следует, как вы можете уже заподозрить, что не вполне ясно, функционирует ли господин вообще. Что и определяет, по всей видимости, позицию господина. Это самое большее, что можно от него потребовать, и чтобы сделать это, меня, естественно, не дожидались. Именно этим и занялся человек, которого звали Гегель, но к сделанному им надо бы еще присмотреться.

Обидно подумать, что с тех пор, как я заговорил на Семинаре о *Феноменологии духа*, ее действительно прочитало, из здесь присутствующих, человек пять. Не стану просить их подымать руку.

Горько признать, что до сих пор я встречал лишь двух человек, которые прочли эту книгу как следует, поскольку и сам я, должен сознаться, во многое так и не успел вникнуть. Я имею в виду моего учителя Александра Кожева, который множество раз свое знание демонстрировал, и еще одного человека, о подлинных масштабах которого вы и понятия не имеете. Его прочтение *Феноменологии духа* настолько глубоко, что в конспектах Кожева, которые у меня хранились и которые я ему передал, у него не было, на самом деле, ни малейшей нужды.

Поистине неслыханно, что как ни лез я из кожи вон в свое время, доказывая, что *Критика чистого разума* представляет собой эротическое сочинение, куда более занимательное, нежели все, что публикует Эрик Лосфельд, это так ничем и не кончилось. Теперь, когда я скажу вам, что *Феноменология духа* – это юмор безумца, это тоже не найдет отклика. И все же это именно так.

Это, действительно, вещь поистине удивительная. Юмор ее холодный, хотя черным я бы его не назвал. С полной убежденностью можно сказать одно – автор прекрасно знает, что делает. Он делает ловкий фокус и весь мир оказывается одурачен. Но одурачен именно потому, что говорит-то он чистую правду.

Нет лучшего способа определить означающее $S_1$, которое вы видите перед собой на доске, нежели идентифицировать его со смертью. Что останется тогда сделать? Останется, по выражению Гегеля, диалектически вывести то, что является зенитом, вершиной характерной для этого члена функции,

ее замыслом. Что знаменует собой вступление в феноменологию духа, как выражается Гегель, господина, этого грубияна? Истина того, что это событие знаменует, невероятно соблазнительна и неожиданна. Для тех, кто на ее удочку попадется, она лежит на поверхности – я говорю так, потому что, по-моему, она как раз на поверхности не лежит. Истина того, что оно знаменует, вот она – связь с Реальным как с чем-то, собственно говоря, невозможным.

Совершенно непонятно, почему из смертельной борьбы за престиж как таковой на свет появляется господин. Хотя Гегель утверждал, что именно это странное расположение фигур и станет ее результатом.

В довершение, предложив историческую концепцию, которая поистине впечатляет рисуемой ей картиной последовательности раскладов власти и способов духовного устроения – последовательности, нанизанной на нить, корой пренебрегать не стоит и которая носила до него название философской мысли – Гегель находит возможность продемонстрировать, что в конечном счете именно раб своим трудом являет, оказывается, истину господина, беря над этим последним верх. В силу этого, принудительного, как вы могли отметить поначалу, труда, раб приходит в конце истории к финишной черте, именуемой Гегелем абсолютным знанием.

Ничего не говорится о том, что происходит потом, потому что в гегелевском суждении четырех терминов не было – был господин, а затем раб. Этот раб, я назову его $S_2$, но вы можете с тем же успехом идентифицировать его с другим термином, наслаждением, от которого он, во-первых, не пожелал отказаться, а, во-вторых, пожелал, поскольку заменил его трудом, который, как-никак, эквивалентом наслаждения не является.

В конце концов, благодаря ряду диалектических мутаций, балету, менуэту, который, начавшись однажды, в ходе развития культуры не прекращается уже никогда, история вознаграждает нас знанием, которое называют не полным – на то есть свои причины – а абсолютным, неоспоримым. Господин предстает теперь, задним числом, всего лишь инструментом истории, ее блистательным Рогоносцем.

Достойно восхищения то, что этот замечательная диалектическая дедукция была предпринята и, более то, можно сказать, удалась. Рассуждения Гегеля – возьмем хотя бы то, что он говорит о культуре – изобилуют проницательными наблюдениями над жизнью и деятельностью человеческого духа. Я повторяю – более занимательное чтение трудно найти.

Хитрость разума – вот что, внушают нам, за всей этой игрой стоит.

Что ж, это отличный термин, для нас, аналитиков, необычайно ценный, и мы можем воспользоваться им на уровне самом азбучном, хотя и не обязательно разумном, ибо сталкиваемся, имея дело с бессознательным, с проявлениями в речи необычайной хитрости. Только вот кончается эта хитрость не там, где обычно думают. Тут хитрость разума, спору нет, но нельзя не признать и хитрость разумника и не снять в знак восхищения шляпу.

Будь возможно, чтобы в начале прошлого века, во времена битвы при Йене, злая шутка по имени *Феноменология духа* кого-нибудь поработила, замысел можно было бы считать удавшимся.

Очевидно, на самом деле, что ни на секунду нельзя представить себе, будто мы хоть в чем-то являемся свидетелями апофеоза раба. Невероятная затея относить на его счет – на счет его труда – какой бы то ни было «прогресс» знания является совершенно напрасной.

Но то, что я называю хитростью разумника, тут как тут – она-то и позволяет нам разглядеть здесь самое важное измерение, которое нельзя упускать из виду. Как только мы задаем место агента – а это не обязательно господствующее означающее, так как место это будут у нас занимать все означающие по очереди – как перед нами встает вопрос – а кто его, агента этого, подвигает на действие? Каким образом удивительная цепочка – цепочка, вокруг которой и сосредотачивается все то, что, собственно, заслуживает названия революции – может возникнуть?

Мы вновь находим здесь, на другом уровне, термин Гегеля, вернув к жизни понятие работы.

Но что представляет собою истина? Она расположена

у нас здесь, под знаком вопроса. Что создает этого агента, что приводит его в действие? – Ведь такое положение дел не имело место всегда, оно возникло лишь в историческую эпоху.

Большая удача, что в центре внимания оказалась фигура столь блестящая, столь ослепительная, что именно поэтому мы не видим, не разумеем в ней главного: ведь Гегель – это возвышенный представитель дискурса знания, и притом знания университетского.

У нас, во Франции, философы – это все больше скитальцы, участники провинциальных кружков, вроде Мэн де Бирана, или типы вроде Декарта, разгуливающие по Европе. Этого последнего надо учиться читать, сам тон его очень важен – ведь говорит он о том, что мог ожидать от рождения. Сразу видно, с кем мы имеем дело. При этом он совсем не дурак, ничего подобного.

У нас во Франции философа нужно искать не в университете. В этом, можно сказать, наше преимущество. А вот в Германии их место как раз Университет. С высоты этого положения они действительно способны думать, будто бедные малые, которые только-только вступают в индустриальную эпоху, в великую эпоху вкалывания и беспощадной эксплуатации, купятся на ту истину, что делают историю именно они, труженики, а господа, мол, это всего лишь шестерки, нужные поначалу, чтобы процесс пошел.

Это важное замечание, и я хочу особо подчеркнуть его в связи со словами Фрейда, сказавшего, что аналитические отношения должны быть основаны на любви к истине.

Что за изумительный тип этот Фрейд! Весь огонь, весь горенье! У него были, конечно, свои слабости. Его отношения с женой, например – это просто уму непостижимо! Всю жизнь терпеть около себя такую стервозу – это о чем-то да говорит.

И, наконец, запомните хорошенько: если и существует что-то, что истина, если вы хотите *Analysieren* поддерживать, должна вам внушить, то это, разумеется, не любовь. Ибо в такой ситуации именно она, истина, вызывает к жизни иное означающее: *смерть*. Больше того, если существует, насколько можно судить, нечто такое, что придает ска-

занному Гегелем другой смысл, то это и есть то, что Фрейд, открыв в свое время, назвал, за неимением лучшего, инстинктом смерти, – повторение, носящее радикальный характер, настойчивое повторение, характеризующее собой, в случае, когда оно возникает, психическую реальность вписанного в язык существа.

Дело, возможно, в том, что другого лица у истины нет. Так что нечего понапрасну по ее поводу переживать.

Но и это не совсем верно. Лицо у истины не одно. Однако что касается аналитиков, то первое правило, которого им надлежит придерживаться, состоит в том, чтобы проявлять толику недоверия, чтобы не терять голову от встреченной истины, от первой же попавшейся на углу симпатичной мордашки.

Именно здесь пригодится нам замечание Фрейда, где мы встречаем, в соседстве с *Analysieren*, реальность. Оно наводит на мысль, что есть, возможно, какая-то ***непосредственная***, как говорят обычно, реальность, которая, собственно, и сходит за истину. Истина – она поддается проверке, но это вовсе не значит, что о Реальном она знает больше – особенно, если говорить о знании как таковом и вспомнить основные черты, в которых Реальное у меня предстает.

Ведь если Реальное определяется через невозможность, то обнаруживается оно на этапе, когда оказывается, что истинность регистра символической артикуляции в принципе невозможно продемонстрировать. Вот что может послужить мерилом нашей любви к истине, равно как и осязаемо дать понять, почему править, воспитывать, анализировать, а также – почему бы не дать законченного определения тому, что происходит в четвертом дискурсе, дискурсе истерика – заставить желать, строго говоря, невозможно.

Но ведь со всеми этими четырьмя задачами люди на наших глазах отлично справляются, что заставляет нас задуматься об их истине – о том, иными словами, как эти безумные вещи, чьим отличительным признаком является в Реальном лишь то, что, приблизившись к ним, нельзя их назвать иначе, как невозможными, вообще происходят. Только в полной логической демонстрации их невозможности и состоит, понятное дело, наш единственный, рис-

кованный, шанс, что Реальное их явится с ослепительной, если можно так сказать, очевидностью.

Если нам приходится толкаться в передней у истины, в лабиринтах ее, так долго, значит есть что-то такое, что мешает нам достичь цели. Чему тут удивляться, если речь идет о дискурсах, которые для нас в новинку? Три четверти века для того, чтобы смотреть на вещи под этим углом зрения, срок, конечно, немалый, но не исключено, что – для желающего очертить невозможное – кресло, в конечном счете, не самая лучшая наблюдательная позиция.

Но как бы то ни было, тот факт, что мы обречены вечно кружить в измерении любви к истине, где невозможность того, что поддерживается, на уровне дискурса, названного у Гегеля дискурсом господина, в качестве Реального, так и будет проскальзывать у нас между пальцев, как раз и отсылает нас с настойчивостью к тому, что аналитический дискурс позволяет, к счастью, нам разглядеть и с точностью артикулировать. Вот почему так важно, чтобы я именно это сейчас и сделал.

## 3

Что касается того, что я излагаю здесь, то я убежден, что в аудитории найдется пять или шесть человек, способных дать ему в другом месте новую жизнь.

Я не говорю, что это какой-то архимедов рычаг. Мои слова ни в малейшей степени не претендуют на то, чтобы обновить систему мировоззрения или представление об истории. Я лишь показываю, каким образом психоанализ позволяет нам усвоить, случайно встретившись с ними, ряд вещей, которые могут оказаться весьма поучительными.

Я, к примеру, вполне мог никогда не встретить Кожева. Если бы я никогда с ним не встретился, то очень возможно, что, как и многие образованные французы определенного времени, я и не подозревал бы, что в гегелевской *Феноменологии духа* что-то есть.

Было бы неплохо, если бы анализ позволял понять, с чем

связана невозможность, то есть нечто такое, что не позволяет очертить, обрисовать не истину, нет, а то единственное, что могло бы, в конечном счете, вызвать некую мутацию, – Реальное в чистом виде.

Дело, однако, в том, что между нами и Реальным лежит истина. Истина, как я однажды в лирическом полете выразился, это маленькая любимая сестренка бессилия. Я надеюсь, что некоторые из вас вспомнили об этом теперь, когда я собираюсь обратить ваше внимание на контраст, в каждой из четырех выведенных мною формул, между верхней и нижней ее строкой.

В первой строке записано отношение, показанное стрелкой и определяемое в каждом случае как невозможное. В дискурсе господина, к примеру, действительно невозможно, чтобы нашелся господин, который привел бы свой мир в движение. Заставлять трудиться других еще утомительнее, чем трудиться самому, если делать это как следует. Господин не делает этого никогда. Он делает знак, господствующее означающее, а все остальные делают ноги. Вот из чего надо исходить – из того, что править, это безнадежное дело. В этом каждый день можно убедиться наглядно.

Посмотрим теперь, не скрывается ли на нижней строке суть невозможности, записанной в верхней – недаром же одно из мест внизу названо местом истины.

Беда в том, однако, что на уровне нижней строки никакой стрелки нет. Мало того, что на этом уровне всякая связь отсутствует – на нем есть затычка.

Что служит этой затычкой? То, что является результатом труда. Открытие небезызвестного вам Маркса и состоит в значении, которое придал он тому, что известно было и до него, тому, на что труд нацелен, – продукту.

Какие бы знаки, какие бы господствующие означающие место агента ни занимали, продукт не имеет, в любом случае, к истине ни малейшего отношения. Делайте, что хотите, говорите, что хотите, связывайте, если угодно, этот продукт с потребностями, которые, кстати сказать, тоже производятся искусственно – все равно ничего не выйдет. Между существованием господина и связью между продуктом и истиной никакого выхода найти нельзя.

О невозможности любого из фигурирующих в наших формулах терминов, в чем бы она ни заключалась, всегда справедливо будет сказать, что если в отношении ее истины мы остаемся в недоумении, то происходит это потому, что истина эта находится под защитой того, что мы назовем бессилием.

Возьмем, к примеру, университетский дискурс, тот, чей первый член, обозначенный нами $S_2$, находится в позиции, обнаруживающей безумную претензию на то, чтобы произвести на свет мыслящее существо, субъект. О том, чтобы субъект, в процессе своего производства, хотя бы на мгновение увидел себя в качестве господина знания, не может быть речи.

Это выступает здесь с особенной очевидностью, но восходит дальше, к дискурсу господина, который я могу лишь, благодаря Гегелю, постулировать, поскольку теперь, как вы увидите, он выступает лишь в значительно измененной форме. Понятие избыт(очн)ого наслаждения, которое я в этом году сформулировал и которое с самого начала мне служит опорой, представляет собой конструкцию, или даже реконструкцию. В качестве опоры оно наиболее истинно. Будем осторожны, этим оно как раз и опасно, но так или иначе мы много выигрываем, артикулируя его таким образом, что особенно заметно, когда читаешь авторов, которые, со своей стороны, Гегеля не читали – я имею в виду, главным образом, Аристотеля.

Читая Аристотеля, мы с самого начала предчувствуем, что отношения господина и раба действительно были для него проблемой. Он пытался, стремясь к истине, ее разрешить, и поистине замечательно наблюдать, каким образом он выходит из положения в тех трех или четырех отрывках, которые этой проблеме посвящены – мысль его движется в одном направлении: он ссылается на природные различия, выводя отсюда, что рабство идет рабу во благо.

Аристотель не был университетским профессором. Он не был мелким хитрецом, вроде Гегеля. Говоря это, он прекрасно понимал, что конструкция его не клеится, трещит по всем швам. Уверенности и особого одушевления он не выказывает. Он не навязывает своего мнения. Но он чувс-

твует, как-никак, что именно с этой стороны можно отыскать что-то такое, что могло бы отношения господина и раба мотивировать. Будь они разного пола, будь они мужчиной и женщиной, выход этот был бы просто блестящим, и Аристотель дает понять, что в этом случае была бы надежда проблему решить. Увы, но это не так, они не обязательно разнополые, и у него опускаются руки. В чем состоит дело, совершенно понятно – дело в том, чтобы узнать, что именно, под названием избыточного наслаждения, получает господин от раба.

Казалось бы, что это должно идти как по маслу. Неслыханное дело, однако, но никто, похоже, не замечает, какой урок можно извлечь из того, что по маслу-то как раз все в данном случае не идет. Проблема этики начинает неожиданно разрастаться – недаром появляется на свет *Никомахова этика*, *Эвдемова этика* и ряд других сочинений на моральные темы.

И этому нет конца. Никто не знает, что с этим избыточным наслаждением делать. Если люди додумались до того, чтобы поместить в центр мира верховное благо, значит наслаждение это действительно ставило их в тупик. Но при всем том, оно, избыточное наслаждение, доставляемое рабским трудом, у нас просто-напросто под рукой.

Вся античная мысль, вплоть до стоиков с их политическим мазохизмом, которую Гегель с искусством фокусника разворачивает перед нашим взором, доказывает и удостоверяет то, что спокойно устроиться в роли субъекта господина, – это с избыточным наслаждением несовместимо.

Посмотрим теперь на схему истерического дискурса где $ находится вверху слева, $S_1$ справа, $S_2$ внизу под чертой и *a* в позиции истины. Он также осуществим лишь постольку, поскольку разделение, симптоматическое расщепление истерика мотивируется производством знания. Истина его в том, что ему необходим объект *a*, чтобы быть желанным. Конечно, он не Бог весть что, этот объект *a*, но мужчины, как-никак, от него с ума сходят – они просто представить себе не могут, что можно обойтись чем-то другим, каким-то другим знаком бессилия, за которым скрывалась бы эта едва уловимая невозможность.

Переместимся теперь на уровень дискурса аналитика. Никто, естественно, этого не заметил, но любопытно, что продуктом его является не что иное, как дискурс господина, поскольку именно $S_1$ занимает в нем соответствующее место. Не исключено, как я уже говорил в Венсенне, что именно из дискурса аналитика, если эти три четверти оборота выполнить, может возникнуть господствующее означающее нового типа.

На самом деле, какого бы типа оно ни было, мы с вами узнаем об этом не завтра. Сейчас, по крайней мере, мы совершенно бессильны связать его с тем, что играет в позиции аналитика главную роль – с соблазном истины, который являет он в своем лице как якобы знающий кое-что о том, что он, в принципе, собой представляет.

Достаточно ли я подчеркнул невозможность его позиции? Ведь аналитик берется воплотить в себе агента, действующую причину желания.

## 4

Итак, мы определили отношения между четырьмя членами нашей формулы. Тот, которому я не дал имени, неименуем, так как именно на запрете его вся эта структура и выстроена – это не что иное, как наслаждение.

Вот здесь-то привнесенный анализом новый взгляд, открытый им просвет на новые перспективы и подводит нас к шагу, который может принести плоды не в сфере мысли, а в сфере поступков.

Но в центре оказывается в данном случае не субъект. Сколь бы ни были плодотворны расспросы истериков, в которых, как я уже говорил, он впервые вошел в историю, сколь бы поразительны ни были результаты выступления субъекта в качестве агента дискурса, первым из которых стала наука, ключ к скрытым пружинам лежит не здесь. Ключ мы получим, лишь обратившись к тому, что происходит вокруг наслаждения.

Можно сказать, что наслаждение ограничено естест-

венными процессами. Но мы, по совести говоря, понятия не имеем, насколько эти процессы естественны. Мы знаем просто, что мало-помалу признали естественными те нежные заботы, которыми общество сколь-нибудь благоустроенное нас окружает, так что каждому до смерти не терпится узнать, что произошло бы, если бы дела действительно пошли плохо. Отсюда и навязчивый садомазохизм, столь характерный для нашей благожелательной сексуальной среды.

Все это бесполезно, даже вторично. Важно другое – говорить о наслаждении, природном или же нет, можно, лишь связывая его с появлением означающего. О том, чем наслаждаются устрица или бобер, мы никогда не узнаем, потому что у них, в отсутствии означающего, нет и дистанции между наслаждением и телом. Устрица и бобер находятся на том же уровне, что и растение, которое в конце концов тоже, возможно, испытывает в этом плане какое-то наслаждение.

Наслаждение строго коррелятивно первичной форме, в которой заявляет о себе то, что я назвал меткой, единичной чертой. Метка эта, по смыслу своему, оказывается меткой смерти. Заметьте, что ничто не имеет смысла, пока в игру не вступила смерть.

Исходя из этого расщепления, отделения наслаждения от умерщвленного отныне тела, с момента, когда наносится метка единичной черты и в дело вступают надписи, впервые становится возможна постановка вопроса. Нет нужды ждать, пока обнаружится, что на уровне истины господина субъект надежно упрятан. Разделение субъекта есть, безусловно, не что иное, как радикальная двусмысленность, присущая самому термину *истина*.

Поскольку язык и все, что вообще к дискурсивному порядку относится, имеют провалы, где все вещи и остаются, мы можем быть, в конечном счете, уверены, что следуя его нити, мы всегда описываем только контуры. Но язык дает нам еще кое-что, и это и есть тот минимум, который необходимо знать, чтобы ответить на вопрос, с которого я начал, то есть на вопрос о том, что происходит на уровне университетского дискурса.

Необходимо посмотреть для начала, почему дискурс господина утвердился настолько прочно, что немногие из нас, похоже, отдают себе отчет в том, насколько он устойчив. Это связано с тем, что обнаружил Маркс – подойдя к проблеме, надо сказать, несколько односторонне – в продукте, назвав его прибавочной стоимостью, а не прибавочным наслаждением.

Начиная с определенного момента в истории, в дискурсе господина произошли определенные изменения. Мы не будем ломать себе голову над тем, обязаны мы этим Лютеру, Кальвину или, скажем, генуэзской торговле в Средиземноморье, так как важно другое – важно, что, начиная с определенного момента, избыточное наслаждение начинает исчисляться, подсчитываться, суммироваться. Начинается то, что известно как накопление капитала.

Разве вы не чувствуете, что по отношению к положению дел, о котором я только что говорил, и для которого характерно бессилие сочетать избыточное наслаждение с истиной господина, здесь сделан шаг вперед? Я не утверждаю, что это шаг решающий и последний, но с бессилием этого сочетания враз оказывается покончено. Прибавочная стоимость присовокупляется к капиталу – никаких проблем, здесь царит полная однородность, мы находимся в мире стоимостей. В нынешние благословенные времена мы все, кстати сказать, в нем барахтаемся. Поразительно другое, чего никто, похоже, не видит – поразительно, что с момента, когда облака бессилия развеялись, господствующее означающее стало, похоже, еще более неприступно, еще более в своей невозможности закрепилось. Где оно? Как его теперь называть? По каким признакам его искать? Разве что по смертоносности его последствий. Что же нам делать – обличать империализм? И как его, этот механизм, остановить?

Что происходит сейчас с университетским дискурсом? Нигде, кроме как в нем, нет шансов придать нашей схеме небольшой крутящий момент. Как так? Я обещаю приберечь объяснение до следующего раза, так как мы продвигаемся очень медленно. Но уже сейчас я могу вам сказать, что на уровне университетского дискурса объект *а* занимает место, которое задействуется всякий раз, когда возникает движение,

– место более или менее терпимой эксплуатации.

Объект *а* – это то, что впускает в функцию избыточного наслаждения немного свежего воздуха. Объект *а* – это то самое, что представляете собой вы все, поскольку вы здесь сидите, выкидыши того, что было для породивших вас причиной желания. Именно в таком качестве вы должны суметь увидеть себя – психоанализ вас этому научит.

И не надо ставить мне палки в колеса, советуя обратить внимание возмутителей спокойствия здесь и где бы то ни было на то, что между выкидышем крупной буржуазии и выкидышем пролетариата лежит целая пропасть. В конце концов, выкидыш крупной буржуазии не обязан, будучи выкинут, таскать за собой повсюду свою наседку.

Как бы то ни было, претензию на то, что вы находитесь в месте, дающем вам особые преимущества в отношении в*и*дения вещей и способности приводить в движение отношения, обозначенные на моей схеме, не следует доводить до той крайности, до которой доводила их – я поделюсь здесь с вами моими воспоминаниями – одна особа, которая в течение по крайней мере двух или трех месяцев того, что называют обычно безумной юностью, была моей спутницей. *Я* – говорила мне эта прелестница – *чисто пролетарской расы.*

Мы так и не покончили до конца с сегрегацией. Смело могу сказать, что она всякий раз будет возникать с новой силой. Ничто не может функционировать без этого – что и происходит здесь, поскольку *а*, то есть *а* в форме живого существа, обнаруживает, даже будучи выкидышем, свое происхождение, демонстрируя, что оно представляет собой эффект языка.

Как бы то ни было, имеется в любом случае уровень, на котором дело так просто не улаживается – это уровень тех, кто эти языковые эффекты произвел. Ведь не бывает ребенка, который родился бы, не имея отношения к словесному обмену между своими милейшими родителями, которые, имея за собой предыдущее поколение, были всецело опутаны сетями дискурса. Именно на этом уровне следовало бы на самом деле ставить вопрос.

Если кому-то хочется, чтобы моя схема пришла во вра-

щение – хотя я достаточно подчеркнул, что в конечном счете привести во вращение, разумеется, ничего нельзя – то это, конечно же, никакой не прогрессизм, дело просто в том, что не вращаться она не может. Если она поворачивается со скрипом, значит неладно там, где что-то вызывает сомнение, то есть на уровне размещения чего-то такого, что мы записываем как *а*.

Существовало ли оно когда-нибудь? Да, безусловно – уже древние оставили нам тому, в конечном счете, наилучшие доказательства, а вслед за ними последовало за истекшие века немало других классических, вполне определенных, в каком-то смысле заимствованных у тех свидетельств.

На что мы, при нынешнем положении вещей, можем надеяться? Эта точка, которую мы прослушиваем, все то знание, все то живое, что остается от тела, этот, если хотите, сосунок, взгляд, крик, вопль – он затравлен, что ему делать?

В следующий раз я попытаюсь объяснить вам, что я имею в виду, говоря о забастовке культуры.

*10 июня 1970 года.*

# XIII
# ВЛАСТЬ НЕВОЗМОЖНОГО

*Немного стыда в соусе.*
*Молоко истины спит.*
*Блеск Реального.*
*Студент, брат люмпен-пролетариата.*
*Маленькое убежище.*

Надо прямо сказать – умереть от стыда мало кому удается. Но это, тем не менее, единственный знак – я вам уже говорил с определенного момента о том, как означающее становится знаком – единственный знак, повторяю, для которого можно установить генеалогию, то есть удостоверить, что он происходит из означающего. Любой другой знак всегда позволительно, в конце концов, заподозрить в том, что это знак в чистом виде, то есть обсценный, или, скажем, шутки ради, *венсценный* (*vinscène*).

Итак, умереть со стыда. Вырождение означающего здесь несомненно, несомненно уже потому, что порождено неудачей означающего, то есть бытием-к-смерти, поскольку оно затрагивает субъекта – а кого еще оно, собственно, может затрагивать? Бытие-к-смерти, визитная карточка, посредством которой одно означающее представляет субъект для другого означающего – вы, надеюсь, успели затвердить это наизусть.

Карточка эта никогда по назначению не приходит, так как чтобы нести на себе адрес смерти, она должна быть разорвана. *Какой стыд (honte)*, говорят люди – именно отсюда и должна бы, по идее, произойти *онтология*, в правильном, наконец-то, правописании: *hontologie*.

Ну, а пока смерть от стыда остается единственным аффектом смерти, достойным – чего, вы спросите? Достойным смерти.

О нем долго предпочитали умалчивать. Ведь говорить о нем, значит обнаружить рубеж обороны, не последний, но единственный, с которого можно было, не стыдясь, гово-

рить о непостыдном, которое стыдится – все это, как видите, *стыд* и его производные, – упоминать о стыде. Стыдится именно потому, что для непостыдного умереть от стыда невозможно. Вы уже слышали от меня, что *невозможное* означает *реальное*.

*Это не смертельно* – говорят люди о чем угодно, когда хотят сказать, что это, мол, дело пустое. Говоря так, они обходят молчанием то, что смерть – ее можно заслужить.

Но дело в данном случае должно идти не о том, чтобы обойти невозможное молчанием, а в том, чтобы стать его агентом. Признать, что смерть – ее можно заслужить: умерев, на худой конец, от стыда за то, что заслужить ее нечем.

Если так с нами и происходит – что ж, значит это и есть единственный способ ее заслужить. Ваш единственный счастливый шанс. Если это не происходит, что, по сравнению с предыдущей возможностью, скорее, несчастье – что ж, тогда чашей стыда, которую предстоит испить, становится жизнь: она ведь не заслуживает, чтобы из-за нее умирали.

Стоит ли так распространяться об этом, если стоит мне раскрыть рот, как на упомянутой мною *Вен-сцене* это немедленно оборачивается шутовским спектаклем.

## 1

Вот именно, Венсенн.

Там остались тем, что я сказал, похоже, довольны. Я им понравился. Но без взаимности. Лично я не слишком доволен Венсенном.

Несмотря на то, что нашелся человек, который любезно попытался организовать все по высшему разряду, *изобразить Венсенн*, из Венсенна явно не было никого, или было совсем немного, несколько слушателей, способных оценить мои слова по достоинству. Это совсем не то, на что я рассчитывал, особенно после того, как они, судя по всему, там мое учение разрекламировали. Бывают моменты, когда фальшь становится мне ощутима.

С другой стороны, там было, в конечном счете, все не-

обходимое, чтобы ясно стало, о чем могут состязаться друг с другом *Минют* и *Тан модерн*. Я упоминаю об этом лишь потому, что это, как вы увидите, имеет отношение к нашей сегодняшней теме – как нам поступать с культурой?

Чтобы осенило, достаточно порой одной мелочи – в данном случае ей послужило воспоминание, которое, сам не знаю как, отложилось у меня в памяти. Стоит вам вспомнить о публикации в *Тан Модерн* одной магнитофонной записи, как связь с *Минют* бросится вам в глаза. Попробуйте – это поразительно, я убедился на себе. Вырежьте по нескольку абзацев из каждой, перетасуйте их как-нибудь и вытягивайте наугад. Уверяю вас, что вы вряд ли разберетесь, откуда что взято.

Это позволит нам не начинать с возражения, сделанного мною только что против определенного тона, определенного выбора слов, из опасения, что их обернут шутовством, а подойти к делу с другой стороны, исходя из того, что шутовство уже налицо. Как знать, быть может, добавив в приправу толику стыда, мы сможем его несколько обуздать?

Короче говоря, я, обращаясь к вам, играю вам, слушателям, на руку. В противном случае, тот факт, что вы – мои слушатели, мог бы стать вам помехой, поскольку во многих случаях это мешает вам то, что я говорю, расслышать. А жаль, так как, по крайней мере те из вас, которые помоложе, давно уже способны сказать то, что я говорю, одни, без меня. Для этого вам недостает, пожалуй, лишь немного стыда.

Стыд, ясное дело, на дороге, тем более с детства хоженой, не валяется, а вот борозды алетосферы, исполосовавшие и изсоюзившие вас заживо, вполне могли бы, пожалуй, вогнать вас немного в краску.

Отчего, по-вашему, Паскаль и Кант суетились перед вами, как два слуги, вот-вот готовых последовать примеру Вателя? Там, наверху, не хватало истины, не хватало целых три века. Но вы же знаете, что блюдо, в конце концов, было явлено – в меру разогретое и под звуки музыки. Не надо брюзжать, вас же обслужили, стыдиться, как видите, больше нечего.

Помните, вы еще спрашивали меня, по какому поводу я волнуюсь, когда я говорил вам о вазочках, где не осталось горчицы – так вот, наполните-ка их поскорее стыдом, чтобы

праздник, когда он наступит, не был лишен пикантности.

Что проку в стыде? – спросите вы. Если изнанка психоанализа он и есть, то этого добра у нас маловато. Еще и на вынос хватит – отвечу я. Если сомневаетесь, поскребите себя, как говорится, немножко, и каждый раз под вашей ветреной внешностью окажется плотная корка стыда, стыда жить.

Вот оно, то, что обнаруживает психоанализ. Посмотрев на дело сколь-нибудь серьезно, вы сразу обнаружите, что оправдывается этот стыд тем, что вы от стыда не умерли, то есть тем, что вы изо всех сил поддерживаете извращенную версию дискурса господина – дискурс университета. *Гегелемонский*, одним словом.

Я снова открыл в воскресенье эту окаянную *Феноменологию духа*, спрашивая себя, не ввел ли я вас в заблуждение, делясь своими воспоминаниями в столь восторженных выражениях. Ни в коей мере – это действительно потрясающе!

Вы найдете там, например, что подлое сознание – это истина сознания благородного. Причем подано это так, что голова идет кругом. Чем гнуснее вы себя поведете – я не сказал *непристойнее*, об этом давно уже речи нет, – тем лучше пойдет дело. Это многое объясняет, к примеру, в последней университетской реформе. Все – единицы стоимости, ибо все стремятся заполучить жезл генерала от культуры, почище маршальского, в свои руки, да еще заслужить, как скотина на выставке, специальные медали, чтобы видно было, что перед вами специалист. Отлично, таких специалистов будет у нас хоть отбавляй.

Устыдиться, что не умер от такого позора, значило бы, возможно, придать всему этому несколько иную окраску, окраску Реального. Я сказал *Реального*, а не *истины*, ибо, как я в прошлый раз уже объяснял, молоко истины сладостно, но ядовито. От него можно уснуть, а этого как раз от вас и хотят.

Я уже посоветовал одной очаровательной особе почитать Бальтазара Грациана, который, как вы знаете, был иезуитом и жил на рубеже шестнадцатого и семнадцатого столетий. Его лучшие работы написаны в начале семнадцатого века. Именно тогда, в конечном счете, родилось мировоззрение,

которое мы теперь можем считать своим. Пришествие науки предчувствовали задолго до того, как она вошла в зенит своей славы. Это любопытно, но это именно так. Всякому, кто стремится составить себе об истории наглядное представление, неплохо обратить внимание на то, что барокко, которое так пришлось нам ко двору сегодня – а современное искусство, фигуративное или нет, недалеко от него ушло – возникло в одно время, немного опережая их, с первыми шагами науки.

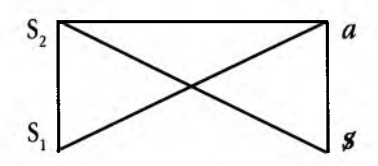
В *Критиконе*, представляющем собой своего рода апологию, где уже содержится, к примеру, сюжет *Робинзона Крузо* – большинство шедевров представляют собой всего лишь сколки с шедевров других, неизвестных, – в третьей части его, посвященной наступлению старости – план книги соответствует этапам человеческой жизни – имеется, во второй главе, сцена, изображающая *истину в родах*

Истина рожает в городе, населенном исключительно чистыми существами. Это не мешает им обратиться в паническое бегство при слухе о том, что истина вот-вот разродится.

Отчего те, кто нашел для меня это место – потому что находка эта, честно говоря, не моя – попросили меня его объяснить? – Не иначе, я думаю, как оттого, что побывали на моем последнем занятии: ведь как раз об этом у меня там шла речь.

Того, что я говорил, и надо держаться, так как если вы хотите, чтобы речи ваши носили подрывной характер, смотрите хорошенько, чтобы они не увязли на дорогах истины.

В прошлый раз, демонстрируя на доске свои схемки, которые я не стану каждый раз рисовать заново, я хотел сказать то, что $S_1$, господствующее означающее, то самое, которое знание в университетской ситуации держит в секрете, – к нему очень соблазнительно бывает прилепиться. И тогда вы попались.



На что я вас нацеливаю – и это, возможно, единственное, что некоторые из вас после этого года для себя вынесут – это сфокусироваться на уровне продукта, продукта университетской системы. От вас ожидают, что вы произведете определенный продукт. И все дело, пожалуй, в том, чтобы заменить в результате этот продукт другим.

## 2

Теперь, просто-напросто в порядке очередного этапа работы, я для разнообразия прочту вам три страницы текста – прочту еще и потому, что в них запечатлено сказанное мною здесь в прошлый раз. Я приношу извинения перед немногими из вас, которым я поверял эти страницы раньше.

Текст этот представляет собой ответ чудаку-бельгийцу, чьи вопросы заняли меня настолько, что мне невольно подумалось, будто я сам их, неведомо для себя, ему и продиктовал. Но заслуга принадлежит, конечно, ему.

Вот шестой из этих вопросов, подкупающе наивный – *В чем истина и знание* – всем известно, что я давно пытаюсь показать, как эти две добродетели между собою сплетаются – *несовместимы друг с другом?*

И вот что я ему на это ответил: *С истиной, скажу без околичностей, совместимо все, в нее непрерывно плюют и гадят. Для знания, как и для всего прочего, это проходной двор, а то и просто уборная. Но в ней можно пребывать постоянно и даже быть от этого места в восторге.*

*Отметьте: я предостерег психоаналитика от того, чтобы место, с которым он обручен знанием, метить любовью. Я сразу сказал ему: на истине не женятся, брачного контракта с ней не подписывают, а во внебрачную связь и тем более не вступают. Она ничего подобного не терпит. Истина – это в первую очередь соблазн, она для того, чтобы вас одурачить. Чтобы не попасться на ее удочку, нужно быть сильным.* Это не ваш случай.

*Так говорил я психоаналитикам, этому призраку, что я, невзирая на оживление, с которым стекаетесь вы в не-*

*изменный день и час меня выслушать с тех самых пор, как сделал я безнадежную ставку на то, что он, психоаналитик, слышит меня, тщетно кличу и заклинаю. Так что предупреждение мое относится не к вам, жало истины не представляет для вас опасности; а вот если, как знать, творение мое оживет, если пресловутый психоаналитик, вопреки надежде, что этому не бывать, примет у меня эстафету, его-то, как раз, я должен предостеречь: общее место, гласящее, что истина, мол, научит всему, не доведет никого до добра. Пусть каждый знает о ней свое – этого довольно, и этого стоит держаться. Еще лучше, если он ей вообще пользоваться не станет. Более предательского инструмента не сыщется на всем свете.*

*Мы знаем, каким образом психоаналитик – не психоаналитик вообще, а психоаналитик отдельно взятый – выходит обычно из подобного положения: он оставляет ниточку этой истины тому, кто на ней уже дергался и кто становится, в силу этого, его пациентом, знача для него в дальнейшем не больше марионетки.*

*Остается, тем не менее, фактом, что с определенных пор встречаются люди, которые почитают долгом проявлять к нему большее участие. Может быть, это мое влияние. Не исключено, что я действительно помог это дело поправить. Но это как раз и обязывает меня предупредить их, что не следует заходить слишком далеко, потому что если я чего и добился, то потому лишь, что и виду не подавал, будто это мне интересно. Но это как раз очень серьезно – к тому же люди обычно делают вид, будто это их очень пугает. Да, это отказ. Но отказ не исключает сотрудничества. Отказ сам может быть формой сотрудничества.*

С теми, кто слушает меня по радио и слуху которых не препятствует, как я говорил только что, то обстоятельство, что они меня слышат, я пойду здесь несколько дальше. Именно по этой причине я и зачитываю вам этот текст – если я могу это делать на уровне средств массовой информации, почему бы не попытать счастья и здесь?

К тому же, эти первые ответы, так вас ошарашившие и прошедшие, похоже, по радио гораздо лучше, чем кажется,

подтвердили принцип, усвоенный мною и составляющий одно целое с тем, что я хотел бы сегодня передать вам в наследство. Это один из методов, из которых наше воздействие на культуру могло бы складываться.

Оказавшись волей случая перед широкой публикой, перед массой, на милость которой отдало вас одно из средств информации, почему бы не поднять уровень прямо пропорционально предполагаемой некомпетентности – сомнительная презумпция – вашей публики? Стоит ли снижать тон? Кого надо вам вербовать? Игра культуры и состоит как раз в том, чтобы вовлечь вас в систему – сделать так, чтобы свои своих не узнали.

Поэтому здесь, несмотря на то, что в этой аудитории сказать об этом еще можно, я скажу о том, чем замечательна, пройдя незамеченной, моя формула субъекта якобы знающего, положенная в основу переноса.

*Предполагаемое знание, которое переносит на аналитика, по моим словам, анализирующий пациент, отнюдь не предполагает в психоаналитике знания истины. Поразмышляйте над этим, если хотите понять, почему дополнение это стало бы для переноса гибельным. С другой стороны, если понимание это мешает действию переноса оставаться истинным, размышлять нал этим не надо.*

*Я испытываю негодование по поводу некой особы, выдающей то, что я обличаю, за толику знания, которой перенос оперирует. От нее одной зависит сменить на другую мебель то кресло, которое, окажись я прав, она грозиться продать. Она ставит себя в безвыходное положение лишь тем, что не довольствуется имеющимися в ее распоряжении средствами. Единственное, что психоаналитику нужно, это чтобы в ткани его бытия не оказалась распущена ни одна петля. Пресловутое незнание, о котором столько разглагольствуют, близко его сердцу ровно постольку, поскольку он сам ничего не знает. Ему претит новомодный обычай откапывать тень, а потом, чтобы прослыть за хорошую охотничью собаку, делать вид, будто нашел падаль. Его дисциплина научила его: Реальное не для того нужно, чтобы его знали – это единственный его рубеж обороны против идеализма.*

*Знание присовокупляется к Реальному; именно поэтому оно способно не только внести в бытие фальшь, но и до известной степени обналичить ее. Вот почему я ушел в наличное бытие,* Dasein, *с головой, и без помощи мне здесь не обойтись.*

*На самом деле, знание занимается истиной лишь там, где оно ложно. Любое знание, которое не является ложным, к истине равнодушно. Истинной, на поверку, оказывается лишь форма его, которую мы, путем весьма сомнительной, надо сказать, процедуры, застаем врасплох, когда милостью Фрейда оно говорит нам о языке – застаем потому, что оно является его, языка, продуктом.*

*Вот здесь-то и имеют место политические последствия. На деле вопрос всегда в том, какое знание возводится здесь в закон. Когда это обнаруживается, может оказаться, что ситуация изменилась. Знание, увиденное другими глазами, понижается в ранг симптома. И тогда является истина.*

*За истину, конечно, сражаются, но причиной тому ее связь с Реальным. Однако то, что это происходит, куда маловажнее того, что это производит. Эффект истины – это пропажа знания. Эта пропажа и обусловливает скорейшее возобновление производства.*

*Что касается Реального, то ему от этого ни жарко, ни холодно. С него, как с гуся вода – до следующего кризиса. Оно даже выигрывает, возвращая себе на время свой блеск. Это блеск, которого от любых революций ждать бесполезно – тот блеск, что мог бы воссиять на месте, всегда неспокойном, истины. Беда лишь в том, что блеск этот ослепителен – в нем не видно ни зги.*

Вот текст, который я, на другой день после последнего семинара, отложил в сторону – для вас, конечно же, так как о том, чтобы присовокупить его к моему маленькому радиопараду, не может быть речи.

В связи с этим важно усвоить следующее – страшно в истине то, чему она уступает место.

Место Другого существует, как я всегда говорил, для того, чтобы туда была вписана истина, то есть все, что к этому разряду относится – ошибки, даже ложь – все, одним словом, что не существует, не имей оно истины в своей основе.

Все это откровенная игра – игра речи и языка.

Но как обстоит дело с истиной в моей четвероногой схеме – схеме, которая предполагает наличие языка и структурированного дискурса, то есть того, что накладывает условия на всякую речь, которая в его рамках может возникнуть? Чему истина, о которой идет речь, истина данного дискурса, то есть то самое, что им обусловлено, уступает место? На чем он, дискурс господина, держится? Это другая сторона функции истины, не лицевая его сторона, а то измерение, где необходимость ее обусловлена чем-то скрытым.

Те борозды, что мы чертим в алетосфере, пролегают по поверхности неба, давно уже опустевшего. Но речь идет о другом – о том, что однажды я нарек словом, которое задело столь многих из вас за живое, что меня спрашивали потом, зачем оно мне понадобилось – речь идет о латузе.

Измерение истины, в котором она выступает как нечто скрытое, придумал не я. В ее основе лежит *Verborgenheit*. Она так устроена, другими словами, что вы невольно подозреваете, будто в утробе у нее что-то скрывается.

Очень скоро нашлись хитроумцы, понявшие, что если содержимое чрева выйдет наружу, то быть беде. Избыточность ее, возможно, пейзажу идет на пользу, но штука в том, что стоит ей выйти, как дело может с равным успехом обернуться кошмаром. Если вы станете ждать у моря погоды, то вы пропали. В общем, не надо латузу слишком дразнить. Увлечься этим, значит удостоверить то, о чем я без устали вам твержу – невозможность того, что отношения эти действительно реальны. Чем больше ваши поиски привязаны к истине, тем больше упрочивают они власть невозможных вещей, которые я вам давеча перечислял – управлять, воспитывать и, порою, анализировать. В отношении анализа это, в любом случае, очевидно.

Субъекта якобы знающего малейшее приближение к истине до глубины души возмущает.

## 3

Мои маленькие четвероногие схемы – это, имейте в виду, не крутящийся столик истории. Вовсе не обязательно, чтобы она обязательно шла этим руслом или чтобы вращение происходило всегда в одну сторону. Это всего-навсего попытка сориентировать вас относительно нескольких радикальных, в математическом смысле, функций.

В отношении функций, решающий шаг был сделан приблизительно в ту эпоху, о которой я только что говорил, и связан он был с чем-то таким, что объединяет между собою начинание Галилея, появление дифференциалов и интегралов у Лейбница и возникновение понятия логарифма.

С функцией входит в Реальное нечто такое, чего там раньше никогда не было, и речь идет не об открытии, эксперименте, выделении, ограничении, размежевании, а о записи – о записи двух типов операций.

Посмотрим, в качестве примера, откуда берется логарифм. В одном случае, первичной операцией является сложение. Сложение как-никак происходит интуитивно: одно находится здесь, другое там, вы совмещаете их и образуется в результате новое множество. Но умножение хлебов – это не собирание оных. Применяя одну операцию к другой, вы изобретаете логарифм. И вот он уже разгуливает по белу свету. Какими бы пустячными ни казались вам его правила, не думайте, что факт существования их оставит вас, здесь присутствующих, в том же состоянии, в котором были вы до того, как эти правила появились. Само их присутствие – вот что важно.

Так вот, наши крылатые термины, $S_1$, $S_2$, *a*, $\$$, могут сослужить нам службу в довольно большом количестве операций. Нужно только приучиться ими пользоваться.

Исходя, к примеру, из единичной черты, можно, ею довольствовавшись, попробовать задаться вопросом о функции господствующего означающего. И это окажется вполне выполнимо, если вы, подведя, разумеется, солидную структурную базу, обратите внимание на то, что в домыслах она не нуждается, что вся комедия смертельной борьбы за престиж и ее исхода становится лишней. В противоположность

выводам, которые напрашиваются, когда мы рассматриваем вещи на уровне действительности, в положении раба никакой произвольности нет. В знании с необходимостью возникает нечто такое, что берет на себя функцию господствующего означающего.

Трудно, конечно, удержаться от фантазий по поводу того, с кого это все началось – вот почему нам так нравится, когда раб с господином перебрасываются у Гегеля мячиком. На самом деле, может быть, просто кому-то стало стыдно, вот он и высунулся вперед таким образом.

Об измерении стыда я вам сегодня уже говорил. Это не самая удобная для обсуждения тема. Она не из тех, о которых легко говорить. Как знать, может быть, это и есть та дыра, из которой хлещет струей господствующее означающее. Будь это так, это помогло бы оценить, насколько тем, кто хотел бы участвовать в ниспровержении, или просто смещении, господина, необходимо с этим означающим сблизиться.

Как бы то ни было, ясно одно – введение $S_1$, господствующего означающего, вы можете наблюдать в любом дискурсе, это условие его читаемости.

Имеются язык, речь и знание – все это было, похоже, налицо и в неолитическую эпоху, но никаких признаков существования измерения, именуемого чтением, у нас нет. В письме и печати нужды еще не было – существуют они, конечно, давно, но как бы задним числом. Почему, читая любой текст, мы всегда можем спросить себя – в силу какой особенности они поддаются прочтению? За разрешением этой трудности нужно обратиться к тому, что выступает как господствующее означающее.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в качестве литературных произведений люди никогда ничего, кроме небылиц, не читали. Чем объясняется такое положение дел?

Последний раз, пойдя по ложному следу – обожаю пуститься по ложному следу – мне случилось прочесть *Изнанку современной жизни* Бальзака. Это и вправду невероятно. Если вы не знакомы с ней, то что бы вы по истории конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века, то есть об эпохе Французской революции ни читали, даже если вы читали Маркса, вы все равно в ней ничего не поймете, от вас

все равно ускользнет нечто такое, чего вы нигде, кроме этой дурацкой книжки, *Изнанки современной жизни*, все равно не найдете.

Пожалуйста, познакомьтесь с ней. Я уверен, что немногие среди вас ее брали в руки. Это одна из тех книг Бальзака, которую читают реже других. Заставьте себя ее-таки прочитать.

Пусть это будет задание, подобное тому, что я попытался – с тех пор едва не сто лет прошло – дать своим слушателям в госпитале Святой Анны, читая с ними первую сцену первого акта *Атали* Расина. Все, что они сумели расслышать там – это точки пристежки. Я не стану утверждать, что метафора была удачной. В конечном счете речь шла о $S_1$, господствующем означающем.

Бог свидетель тому, что они из этой точки пристежки сделали – о ней писали даже в *Тан модерн*, спасибо, что не в *Минют*.

Речь шла о господствующем означающем. То был способ потребовать от них, чтобы они отдали себе отчет в том, каким образом нечто такое, что разносится в языке как по ветру, оказывается читаемым, то есть оседает, становится дискурсом.

Я всегда утверждал, что метаязыка нет. Если что и можно принять за поиски в языке *мета*-уровня, так это просто-напросто вопрос о чтении.

Предположим, чисто гипотетически, что у меня спросили бы мнение о вещах, с которыми меня ничего, кроме этого места, надо сказать, достаточно специфического, не связывает – меня удивило бы, что меня безапелляционно зачисляют по университетскому ведомству. Но в конце концов, если другие, по причинам, учитывая их положение, вполне весомым и в свете моих маленьких схемок особенно очевидным, окажутся в ситуации, когда им захочется совершить в университетских порядках некий переворот, где им искать выхода?

Они могут искать его, к примеру, там, где все нанизывается на одну ниточку, где найдется место и им, и тем, кто за ними последует – все они, в силу самой природы накопления знания, окажутся в положении подчиненных.

За всем этим приоткрывается некая житейская мудрость.

С некоторого времени это стало своего рода мифом. Я здесь не для того, чтобы вам такой исход проповедовать. Я объясняю вам, что жить стыдно.

Ведя поиски в этом направлении, они сумеют, может быть, подтвердить с помощью моих схемок, что в положении студента ничего не меняется, когда он братается, как они выражаются, не с пролетариатом, а с люмпен-пролетариатом.

Пролетариат – он вроде римского плебса – а это были люди весьма замечательные. Классовая борьба с самого начала содержит, вероятно, источник всех дальнейших ошибок – дело в том, что она ни в коем случае не разворачивается в плоскости подлинной диалектики дискурса господина, она целиком укладывается в плоскость идентификации. *Senatus Populusque Romanus*. Они на одной стороне. А вся остальная империя – это прочие.

Важно понять, почему студенты солидаризируются с этими прочими. Похоже, они не видят ясно, как из этого положения выйти. Я хотел бы заметить им, что важнейший момент системы – это производство, производство стыда. Этому есть имя – это бесстыдство.

Вот почему было бы, наверное, неплохо в этом направлении шагов не делать.

## 4

Возьмем нечто такое, что в мои маленькие схемки прекрасно укладывается, – что, в самом деле, система производит? Она производит некий культурный продукт. А что производят на университетском станке? Конечно же, диссертации.

Этот режим производства всегда имеет отношение к господствующему означающему. Но происходит это не просто потому, что он вас этим титулом жалует, не оттого только, что предполагается, будто все, что в этом режиме производится, связано с тем или иным авторским именем.

Связь здесь гораздо более тонкая. Существует предвари-

тельная, пороговая процедура. Вы получаете в университете слово строго при условии, что на вас навсегда ложится печать вами написанной диссертации. Она придает вашему имени необходимый вес. Правда, дальнейшая ваша деятельность может быть с диссертацией никак не связана. Обычно, впрочем, ей и довольствуются. Но это не важно, так как стоит вам приобрести имя, и вы можете говорить, что хотите. Вот что играет здесь роль господствующего означающего.

Надо ли говорить – так как большого значения я этому придавать не хотел бы – что именно так пришла мне в голову одна затея, о которой вам много в последнее время приходится от меня слышать – я имею в виду журнал *Scilicet*. Некоторые были поражены, узнав от меня, что это будет место, где статьи будут публиковаться без подписи.

Не надо думать, будто моя подпись является исключением. То, что я туда написал, говорит само за себя: речь идет о болезненных испытаниях, связанном с так называемой школой, куда я внес предложения, которые позволили бы вписаться в нее тому, что, кстати сказать, вписаться в нее не замедлило, – о своего рода каталептическом эффекте.

Тот факт, что под этим текстом стоит моя подпись, мог бы представлять интерес, если бы я действительно был автором. Но я вовсе не автор. Тем, кто читает мои *Писания*, такое и в голову не приходит. В течение долгого времени авторство мое было тщательно ограничено печатным органом, единственный интерес которого состоял в старании как можно неуклоннее держаться того, что я попытался определить как *постановка знания под вопрос*. Какие бедствия оно, аналитическое знание, за собой влечет – вот в чем была проблема, вот как стоял вопрос до тех пор, пока всем не приспичило стать поскорее авторами. Занятно на самом деле, что парадоксальным кажется как раз неподписанное, в то время как веками все приличные люди, напротив, по меньшей мере делали вид, что рукопись у них отобрали силой, что над ними сыграли злую шутку. Они не рассчитывали, что по выходу книги им станут приходить поздравительные открытки.

Короче говоря, если сочинения, где знание, распростра-

няемое и имеющее хождение в рамках университетской системы, серьезно ставилось бы под вопрос, вообще могут появиться на свет, то почему бы этому не произойти в узком, вроде нашего с вами, кругу, который поставил бы себе за правило не публиковать сочинения к вящей славе их автора, а высказывать, невзирая на последствия, строго обоснованные со структурной точки зрения мысли.

Возьмите, к примеру, Дидро – этот тип написал *Племянника Рамо*, выронил рукопись из кармана, кто-то отнес ее Шиллеру, который точно знал, что это Дидро. Сам Дидро никогда этим не занимался. В 1804 году Шиллер передал рукопись Гете, который ее немедленно перевел, и вплоть до 1891 года – я это точно знаю: вот томик, который я захватил сюда из собственной библиотеки – в нашем распоряжении был лишь французский перевод, выполненный с немецкого перевода Гете, который, кстати, тоже напрочь забыл о нем через год после публикации и, вполне вероятно, даже не имел у себя экземпляра, так как французы и немцы в это время вовсю между собой воевали и народ к такого рода революционным диверсиям относился не слишком сочувственно. Короче говоря, перевод прошел незамеченным и сам Гете наверняка не знал о факте его выхода в свет, что не помешало, однако, Гегелю сделать его одним из главных жизненных центров той исполненной юмора книги, на которую я в последнее время так часто ссылаюсь – *Феноменологии духа*.

Нет, как видите, особого основания проявлять заботу о том, чтобы продукция ваша была помечена вашим именем. Это служит, я уверяю вас, скорее помехой тому, чтобы что-нибудь дельное выпустить в свет – хотя бы потому уже, что разбираясь вплотную с тем, что может вас в данной работе естественным образом интересовать, вы чувствуете себя обязанным, по законам все той же диссертации, соотносить написанное с автором – он, скажем, гений; а вот это у него натяжка; ему не хватает свежих идей; он не завирается. А если он высказал что-то новое, что о нем, возможно, ничего ровным счетом не говорит, вы просто обязаны думать, что он был умница. С таким подходом вы далеко не уйдете.

Что касается психологии, то поразительно, что в рабо-

тах, вносящих какую-то ясность, вроде *Изнанки современной жизни*, о которой я только что говорил, ей и не пахнет. Книга эта представляет собой небольшой монтаж, ценность которой в господствующих означающих – в том, что она поддается чтению. В какой бы то ни было психологии нужды нет вовсе.

В свое оправдание и во избежание недомолвок скажу – от произошедшего с ними несчастного случая, то есть от немедленного прочтения, мои *Писания* спасает лишь то, что это, как ни крути, *worst-seller*.

Я не буду сегодня, в такую жару, затягивать это, последнее в этом году, занятие.

Ясно, что многое осталось несказанным, но не лишним, безусловно, будет уточнить следующее – если, говоря вслед за Гегелем, для вашего присутствия здесь в таком количестве, столь часто меня смущающем, имеются какие-то не слишком низменные причины – мерилом здесь, как сказал бы Гете, является такт, и я не слишком, но в меру, это учитываю, – если это явление, поистине, имея в виду, что большинство из вас из мною сказанного для себя извлекает, необъяснимое, действительно имеет место, то лишь оттого, что мне удается, не слишком, но как раз в меру, внушить вам стыд.

*17 июня 1970 года.*



# ПРИЛОЖЕНИЯ

# А.
# АНАЛИТИКОН

*Протестующий готовит себе шоколад сам.*
*Тупик психоаналитического отбора.*
*Единицы стоимости.*
*Ничто не является всем.*
*Посмотрите, как они делают.*

*[Это занятие состоялось в Венсенне, в экспериментальном университетском центре, 3 декабря 1969 года. Оно было заявлено как первое из четырех под заглавием* Аналитикон, четыре экспромта.*]*

Я расскажу про свою тайную советчицу – вот она у меня какая *[на эстраду входит собака]*.

Это единственное известное мне существо, которое знает, что оно разговаривает – я не говорю: что оно говорит.

Не то, чтобы оно совсем ничего не говорило – просто оно делает это без слов. Она говорит что-то, когда боится – такое у нее бывает – она кладет мне тогда голову на колени. Она знает, что я умру – это не секрет и для некоторых людей тоже. Зовут ее Юстина, она моя собака, она очень красива, а слышали бы вы, как она разговаривает...

Единственное, чего ей по сравнению с тем, кто гуляет сам по себе, не хватает, это университетского образования.

## 1

Итак, я перед вами в качестве гостя экспериментального центра вашего университета – опыт весьма для меня поучительный.

Поскольку речь идет об опыте, вы можете поинтересоваться, какой цели вы служите. Если вы зададите этот вопрос мне, я нарисую – попробую нарисовать – кое-что для

вас на доске, поскольку Университет – это, как-никак, сила, у него очень глубокие корни.

Я приберег для вас в качестве темы название одной из дискурсивных позиций, сформулированных мною в другом месте – там, где я начал свои семинарские занятия.

Итак, речь пойдет о дискурсе господина, поскольку к разговорам о нем вы уже успели привыкнуть. И не так уж легко подыскать подходящий пример, как заметила мне одна очень неглупая особа вчера вечером. Я, однако, попробую. Именно на этом месте я и остановился как раз на своем семинаре. Речь не идет, конечно, о том, чтобы здесь его продолжать. Недаром назвал я это *экспромтом*. Вы сами видели, как это хвостатое существо подбросило мне только что подходящую тему. Я буду продолжать в том же духе.

Во-вторых, я затрону дискурс истерика. Это очень важно, так как именно благодаря ему начинает вырисовываться дискурс аналитика. Главное, чтобы они, эти самые психоаналитики, были. Об этом-то я как раз и забочусь.

Реплика: – *В любом случае, психоаналитика нужно искать не в Венсенне.*

Вы правы, конечно же, не в Венсенне.

Реплика: – *Почему студенты Венсенна не могут, пройдя курс обучения, стать психоаналитиками?*

Именно это, мадемуазель, я и собираюсь как раз объяснить. Об этом-то и идет как раз речь. Психоанализ не передается таким же образом, как любое другое знание.

Психоаналитик занимает позицию, которая в известных случаях оказывается способна стать позицией дискурсивной. Он не передает в этой позиции какого-то знания, хотя нельзя утверждать, как неосторожно иногда заявляют, что знать тут, мол, вообще нечего. Под вопрос ставится именно это – функция, в обществе, определенного знания, знания, которое вам передается. Оно существует.

Представляет оно собой алгебраическую последовательность, единство которой обусловлено тем, что она образует

цепочку, чьим исходным моментом является следующая формула:

$$\frac{S_1}{\$} \rightarrow \frac{S_2}{a}$$

Означающее является таковым постольку, поскольку оно представляет субъект для другого означающего. Эта формула, здесь записанная, имеет основополагающее значение. Мы можем, во всяком случае, так считать. Моими стараниями была сделана попытка добиться того, к чему я теперь, найдя для этого соответствующую форму, подошел вплотную. Это была попытка дать место тому, что позволяло бы деликатно манипулировать определенным понятием, поощряя субъектов довериться ему и работать с ним. Это как раз и есть *анализирующий субъект.*

Я сразу же заинтересовался тем, какие последствия это будет иметь для психоаналитика и какое место достанется тогда ему. Ибо с тех пор как Фрейд, который хорошо знал, что говорил, назвал эту функцию невозможной – при том, что выполняется она каждый день, – наши представления на сей счет яснее, очевидно, не стали. Но если вы почитаете этот текст повнимательнее, вы увидите, что речь там идет не о функции психоаналитика, а о его бытии.

Что должно произойти для того, чтобы в один прекрасный день анализирующий субъект взялся за то, чтобы им, психоаналитиком, стать? Именно это я и пытался выяснить, когда говорил о психоаналитическом акте. Мой тогдашний семинар – а это был 68-й год – я прервал, не доведя его до конца, чтобы выразить таким образом мою симпатию к тому, что происходило тогда и продолжает – в более мягкой форме – происходить и сейчас. Это движение напоминает мне о сюжете, который я однажды, если мне память не изменяет, придумал для своего покойного ныне хорошего друга Марселя Дюшана – *холостяка, который готовит себе шоколад сам.* Смотрите, как бы протестующий не стал готовить себе шоколад сам.

Одним словом, пресловутый психоаналитический акт так и остался, можно сказать, под спудом. Вернуться к нему у меня не было времени, тем более что примеры того, к чему

он ведет, у меня под ногами.

Вышел в свет очередной номер *Фрейдовских исследований*. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ним, поскольку без колебаний советую читать даже плохие работы, когда вижу, что им суждено стать бестселлерами. Но в данном случае я советую их прочесть потому, что это тексты очень хорошие. Это не то, что тот маленький гротескный текст с замечаниями о моем стиле, нашедший, естественно, себе место на необитаемых полянах *Полании*. Это совершенно другое дело. Прочтя их, вы много приобретете.

Помимо статьи того, кто руководит изданием и о котором я, кроме хорошего, ничего сказать не могу, в выпуске имеются материалы, безоговорочно направленные против психоанализа вообще, отрицающие его как учреждение. Есть там один очаровательный, солидный и симпатичный канадец, высказывающий, честно говоря, мысли очень своевременные; есть некто из Парижского института психоанализа, занимающий важный пост в его учебной комиссии и критикующий психоаналитическое учреждение как таковое на основании несовместимости его с тем, чего само существование психоаналитика настоятельно требует, – это настоящее чудо. Я не могу сказать, что под ней подписался бы, поскольку я ее уже подписал, – эти соображения принадлежат мне.

Так или иначе, я на этом не останавливаюсь и высказываю определенное предложение – предложение, основанное на выводах, которые из блестяще описанного здесь безвыходного положения следуют. Можно представить себе маленькое примечание, поясняющее, что нашелся, мол, экстремист, попытавшийся провести предложение, радикально обновляющее смысл всего психоаналитического отбора. Сделать такое примечание желающего, конечно же, не нашлось.

Я вовсе не жалуюсь на самом деле, так как, по мнению самих заинтересованных лиц, протест этот повисает в воздухе и останется без последствий. О том, чтобы в функционировании Института, к которому имеют отношение авторы, могли в результате произойти какие-то изменения, не может быть речи.

## 2

Реплика: – *Я пока так ничего и не понял. Хорошо бы узнать для начала, что такое психоаналитик. По-моему, это что-то наподобие полицейского. Те, кто к нему обращаются, говорят о себе и занимаются только собой.*

Реплика: – *Раньше были кюре, а теперь, когда это дело больше не проходит, придумали психоаналитиков.*

Реплика: – *Лакан, мы уже час ждем, что ты займешься тем, на что намекал – критикой психоанализа. Мы оттого и молчим, что это было бы и самокритикой тоже.*

Но я психоанализ вовсе не критикую. О том, чтобы критиковать его, речи нет. Вы меня неправильно поняли. Я себя к протестующим не отношу.

Реплика: – *Ты сам сказал, что в Венсенне психоаналитиков не готовят, и что это хорошо. Какое-то знание на самом деле нам отпускают, но ты не сказал нам, что оно собой представляет. Если это не знание, как ты говоришь, то что это такое?*

Немного терпения. Я вам все объясню. Заметьте, я сюда приглашен. Это прекрасно, замечательно, благородно, но я лицо приглашенное.

Реплика: – *Это знание или не знание? Ты не единственный параноик в этой аудитории.*

Я буду говорить о той стороне вещей, к которой не имею сегодня отношения лично, о факультете психоанализа. Существует деликатный вопрос о единицах стоимости.

Реплика: – *Вопрос о единицах стоимости отрегулирован и ставить его на рассмотрение сейчас не время. Преподаватели факультета психоанализа предприняли целый маневр, чтобы продержаться весь год. Плевать мы хотели на единицы стоимости. Ведь речь идет о психоанализе. Ты понял? Наплевать!*

Лично у меня вовсе нет ощущения, что на единицы стоимости всем наплевать. Наоборот, за эти единицы очень даже держатся. Это вошло в привычку. Я нарисовал на доске схему четвертого дискурса, о котором в последний раз не упомянул – я назвал его университетским. Вот он. В господствующей позиции здесь, как видите, $S_2$, знание.

Реплика: – *Ты над кем здесь издеваешься? Университетский дискурс в единицах стоимости. Это миф, и ты хочешь, чтобы мы в него верили. Люди, которые настаивают на правилах игры, которые ты навязываешь, – это уму непостижимо. Так что не надо нас убеждать, будто университетский дискурс у тебя на доске. Потому что это вранье.*

Университетский дискурс действительно на доске, и знание занимает в нем левое верхнее поле, уже обозначенное в предыдущем дискурсе. Потому что самое важное в том, что записано здесь – это отношения между членами, где сообщение есть и где его нет. Если вы начнете с того, что найдете место тому, что составляет суть дискурса господина – а суть его в том, что он вторгается в систему знания, что он ее определенным образом упорядочивает, – то вы сможете задаться вопросом о том, что это значит, когда дискурс знания, в результате поворота на девяносто градусов, не нуждается больше в доске, ибо он уже в Реальном. Это перемещение, когда знание, в момент, где мы с вами находимся, берет рычаги управления на себя, и приносит как раз в качестве плода, результата, то самое, что я определил как осадок в отношениях гоподина с рабом. То самое, другими словами, что фигурирует у меня под буквенным обозначением как объект *a*. В прошлом году, когда я взял было на себя труд высказать некое соображение на тему, сформулированную мной как *От Другого к другому,* я говорил уже, что это то самое место, которое Маркс, открыв его, назвал прибавочной стоимостью.

Вы все являетесь продуктами Университета и доказываете, что являетесь прибавочной стоимостью сами – доказываете хотя бы тем, что, не только соглашаясь с этим, но и это приветствуя, приравниваете себя – на что мне, со своей стороны, возразить нечем – к единицам стоимости. Вы приходите сюда, чтобы стать единицами стоимости. Вы выходите

отсюда с соответствующей вашей единице штампом.

Реплика: – *Мораль: лучше уж выйдем отсюда проштампованные Лаканом.*

Я никого не штампую. Почему вы решили, что я собираюсь проштамповать вас? Какая чушь!

Реплика: – *Нет уж, ты нас не проштампуешь, будь уверен. Я хочу сказать, что ты говоришь за людей, которые пришли сюда говорить и не могут сделать этого подобающим образом – вот она, твоя печать. Люди хотят говорить, выражая протест, который ты называешь напрасным. Есть и другие, которые сидят в углу и что-то бубнят, выражая так свое мнение. Никто не высказывается, потому что ты якобы должен сказать все за них. Чего я хотел бы, так это чтоб у тебя появилось желание помолчать.*

Они правильно делают. Они думают, что я скажу это лучше их. Я возвращаюсь в свою область – что мне, как раз, и ставят в упрек.

Реплика: – *Лакан, не издевайся над людьми, ладно?*

Вы ставите в своем выступлении столь жесткие требования...

Реплика: – *Лично мне не нравится, что над людьми издеваются. Когда они задают вопрос. Нечего говорить обиженным голоском, как ты уже три раза делаешь. Надо ответить, и все. Какой у тебя вопрос? И еще, поскольку многие среди нас думают, что психоанализ – это проблемы задницы, остается заняться* love-in. *Нет ли тут желающих этот* love-in *здесь сымпровизировать?*

*[он снимает рубашку.]*

Послушайте, старина, я уже видел такое вчера вечером. Я был в Открытом Театре и там один тип это делал, только он был понаглее вас и разделся догола. Давайте, черт возьми, продолжайте.

Реплика: – *Не стоило, однако, над ним потешаться. Почему Лакан критикует то, что товарищ делает, таким жалким способом? Стучать по столу и говорить товарищу, что раздеваться нехорошо – это, конечно, забавно, но не слишком ли это просто?*

Я человек простой.

Реплика: – *А им смешно – это интересно.*

Я не понимаю, что удивительного в том, что они смеются.

Реплика: – *Я предпочел бы, чтобы они в такой момент не смеялись.*

Это грустно

Реплика: – *И еще грустно видеть, как люди выходят отсюда в шесть часов вечера как из метро.*

Ну, так что мы решили? Похоже, собравшиеся не могут говорить о психоанализе, ожидая, что этим займусь я. Что ж, они правы. У меня это получится лучше.

Реплика: – *Это не совсем так, поскольку между собой они говорить не против.*

Это точно.

Реплика: – *Есть среди собравшихся люди, те самые, что записывают и смеются, которые каждый раз, когда Лакану удается овладеть вниманием аудитории, о чем-то между собой, по-соседски – тут своя топология – переговариваются. Хотелось бы их послушать.*

Реплика: – *Дайте же наконец Лакану сказать!*

А вы пока помолчите.

Реплика: – *Лакан с нами!*

Я с вами.

Время идет. Попробую, однако, дать вам хоть какое-то представление о своем проекте.

Речь идет о том, чтобы выработать некую логику, которая, сколь бы слабой она ни представлялась – мои четыре буковки не кажутся бог весть чем, пока вы не знаете, по каким правилам они работают – являлась бы, тем не менее, достаточно сильной, чтобы нести в себе главный признак этой логической силы, то есть неполноту.

Это кое у кого вызывает смех. Но из этого многое следует, особенно для революционеров – из этого следует, что ничто не является всем.

С какого бы конца вы к делу ни подступили, какой бы стороной мою формулу ни повернули, каждая из моих четвероногих схемок будет обладать неизменным свойством – в ней будет оставаться провал, зияние.

На уровне дискурса господина оно находится там, где должно было бы происходить присвоение прибавочной стоимости.

На уровне университетского дискурса оно принимает другую форму. И в нем источник ваших мучений. Нельзя сказать, что знание, которое вам дают, не является солидным и структурированным, но именно поэтому вам только и остается, что вплестись в его ткань вместе с теми, кто трудится, то есть с теми, кто преподает вам, – в качестве средств производства и в то же самое время прибавочной стоимости.

Что до дискурса истерика, то это тот самый дискурс, что позволил сделать решающий шаг, сообщив смысл тому, что сформулировал в отношении истории Маркс. Речь идет о том, что имеются исторические события, истолковать которые можно, лишь рассматривая их как симптомы. Из этого не были, однако, сделаны надлежащие выводы, пока дискурс истерика не проложил от этого путь к чему-то другому, – к дискурсу аналитика.

Поначалу психоаналитику оставалось лишь прислушиваться к тому, что говорил больной истерией.

*Мне нужен мужчина, который знал бы, как заниматься любовью.*

На этом мужчина действительно и останавливается. Он довольствуется тем, что выступает как знающий. Что до

любви, то ее не дождешься. Ничто не является всем, и вы можете шутить какие угодно шутки, но одна из них совсем не смешная, – это кастрация.

## 3

Реплика: – *Лекция тихо идет своим чередом, а между тем полиция арестовала сто пятьдесят наших товарищей из Школы изящных искусств и они со вчерашнего вечера парятся в Божоне, потому что в отличие от этого мандарина они не читают курсов об объекте а, на который всем наплевать. Вместо этого они направились в министерство снабжения преподать им курс о положении в бидонвиллях и политике господина Шаландона. Так что, по-моему, беседы, которые вы на этом пафосном курсе ведете, говорят лишь о степени разложения нашей университетской системы.*

Реплика: – *Если вы не хотите дать мне слово, то лишь потому, что не знаете еще, какая луженая у меня глотка. Лакан, я хотел тебе кое-что сказать.*

*Мне кажется, мы подошли к моменту, когда очевидно стало, что протест может в этой аудитории найти себе возможную форму. Можно, понятное дело, возмущаться, можно хорошо каламбурить, но при этом ясно, а сегодня, может быть, вполне очевидно, что мы никогда не сможем критиковать Университет, оставаясь внутри него, в рамках его курсов и правил, установленных им без нашего спроса.*

*То, что сообщил только что наш товарищ о студентах художественной школы, которые вышли за пределы университета, чтобы преподать чиновникам курс о положении в бидонвиллях и политике господина Шаландона, подает нам, по-моему, отличный пример. Подобные действия позволяют найти выход нашему желанию изменить общество и, в частности, разрушить Университет. И я хотел бы, чтобы Лакан сказал нам, что он по этому поводу думает. Ибо разрушить Университет не удастся силами большинства студентов, действующих изнутри, но только в*

*союзе, который мы, студенты, должны с революционных позиций заключить с рабочими, крестьянами и трудящимися. Я прекрасно понимаю, что связи с тем, что только что говорил Лакан, здесь никакой нет, но...*

Вовсе нет, она есть.

Реплика: – *Она, быть может, и есть, но она вовсе не очевидна. Связь между действиями, которые мы должны предпринять вне Университета, и дискурсом Лакана, если он таковым является, носит имплицитный характер. И было бы хорошо, если бы Лакан сказал теперь нам, что он думает по поводу необходимости выйти из Университета и прекратить прения о словах, споры с профессором по поводу той или иной цитаты из Маркса. Потому что академическим Марксом мы сыты по горло. Мы уже год слушаем, как о нем болтают на факультете. Мы знаем, что все это чушь собачья. Делать из Маркса академического ученого, значит служить буржуазному Университету. Если с Университетом необходимо покончить, делать это надо извне и вместе с теми, кто извне находится.*

Реплика: – *А почему же ты сам внутри?*

Реплика: – *Я внутри, товарищ, потому что хочу, чтобы люди из него вышли, нужно быть здесь, чтобы им об этом сказать.*

Ну вот, видите. В этом, старина, все дело. Чтобы заставить их выйти, вы сами входите.

Реплика: – *Лакан, позволь мне закончить. Все дело не в этом, потому что есть еще студенты, которые думают, что выслушивая дискурс Лакана, они смогут найти в нем элементы, которые позволят им этот дискурс опровергнуть. Я думаю, что они попадают в ловушку.*

Это чистая правда.

Реплика: – *Если мы думаем, что оружие для критики идеологии, которой они нас пичкают, мы можем найти, выслушивая Лакана, Фуко и им подобных, то мы жестоко*

*ошибаемся. Чтобы найти средство поднять Университет на воздух, нужно из него выйти.*

Да, но куда? Ведь когда вы выходите отсюда, вы становитесь афатиком. Выходя, вы продолжаете говорить и, следовательно, остаетесь внутри.

Реплика: – *Я не знаю, что это такое, афатик.*

Вы не знаете, что такое афатик? Это чудовищно. Вы не знаете, что такое афатик? Какой-то минимум надо же знать.

Реплика: – *Я не торчу сутками в университете.*

Так вы не знаете, что такое афатик?

Реплика: – *Некоторые покидают Университет, чтобы обделывать собственные делишки. Другие делают это, чтобы вести борьбу вне его стен. Вот что значит выйти из Университета. Лакан, мы хотим знать твое мнение.*

Короче говоря, сделать Университет орудием критики? То есть чем-то вроде того. Что здесь происходит? Так? Вы не знаете, что такое Университет как инструмент критики. Вам об этом никогда не говорили.

Хорошо. Я хотел бы начать с маленького замечания. Союз рабочих и крестьян привел, как ни крути, к форме общества, где рычаги управления получил как раз Университет. Ибо в государстве, именуемом обычно Союз Советских Социалистических Республик, царит именно Университет.

Реплика: – *Какого хрена? Мы говорим не о ревизионизме, мы говорим о марксизме-ленинизме.*

Ну хватит. Вы просили, чтобы я говорил, вот я и говорю. Я не повторяю вещей, которые носятся в воздухе, я выражаюсь точно.

Реплика: – *Ты ничего не сказал.*

Я не сказал только что, как я представляю себе организацию СССР?

Реплика: – *Ничего подобного.*

Я не сказал, что там царит знание? Я этого не сказал? Нет?

Реплика: – *Ну и что?*

А то, что вы, мой друг, не пришлись бы там ко двору.

Реплика: – *Тебе задали вопрос об одном обществе, а ты отвечаешь нам о другом. Мы ждали от тебя, чтобы ты объяснил, почему все это так безнадежно.*

Я совершенно согласен. Существуют границы, которую определенная логика, которую называют слабой, перейти не может. Но логика эта достаточно сильна, чтобы оставить вам немного неполноты, что вы на самом деле отлично и демонстрируете.

Реплика: – *Мне интересно, почему в этот амфитеатр набилось целых восемьсот человек? Конечно, ты отличный клоун, знаменитость, и они пришли на твое выступление. Вот тут товарищ тоже говорил целых десять минут, доказывая, что маленькие группы не могут расстаться с Университетом. И все, признавая, что сказать нечего, говорят, чтобы ничего не сказать. Но если сказать нечего, нечего понимать, нечего знать и нечего делать, зачем мы все здесь собрались? И почему ты, Лакан, еще здесь?*

Реплика: – *Мы ушли в сторону ложной проблемы. И все потому, что товарищ сказал, что пришел в университет, чтобы других товарищей из него увести.*

Реплика: – *Мы говорим о Новом Обществе. Найдется ли для психоанализа роль в этом обществе, и какая?*

Общество это не то, что можно определить таким образом. Я, опираясь на свидетельства, которые мне приносит анализ, пытаюсь описать то, что господствует над ним, то есть языковую практику. Афазия свидетельствует о наличии тут слабого места. Представьте себе людей, у которых в мозгу что-то такое, что мешает им правильно обращаться с

языком. Это были бы своего рода калеки.

Реплика: – *Можно сказать, что Ленин едва не стал афатиком.*

Наберись вы терпения и пожелай вы, чтобы наши экспромты продолжились, я бы объяснил вам, что исход у революционных устремлений только один, – они неизбежно приходят к дискурсу господина. Это доказано на опыте.

То, к чему вы как революционеры стремитесь, это господин. И вы его получите.

Реплика: – *Он уже есть, это Помпиду.*

Вы думаете, что имеете господина в лице Помпиду? Что за чушь!

Я тоже хотел бы задать вам один вопрос. Для кого здесь имеет смысл слово *либерал*?

Реплика: – *Помпиду – либерал, и Лакан тоже.*

Я, как и все остальные, либерал лишь постольку, поскольку я анти-прогрессист. С той, впрочем, оговоркой, что вовлечен-таки в одно движение, которое заслуживает название прогрессистского, ибо видеть, как рождается на твоих глазах психоаналитический дискурс, тот самый, что замыкает круг, который позволит, быть может, вам найти точное место тому, против чего вы как раз и бунтуете, – это и значит смотреть вперед. Что не мешает нынешнему режиму прекрасно функционировать.

И первые пособники ему здесь, в Венсенне, вы сами, ибо именно вы служите ему илотами. Этого слова вы тоже не знаете? Режим указывает на вас. Он говорит – *смотрите, как они наслаждаются*.

На сегодня все. *Вуе*. Наша встреча окончена.

*3 декабря 1969 года.*

## B.
## ДОКЛАД Г-НА КАКО

Высказывая предположение, что Моисей мог умереть от руки своих соплеменников, Фрейд ссылается на авторитетное мнение Эрнста Зеллина. Этот библеист, родившийся в 1867 году, был одним из наиболее замечательных представителей немецкой школы библейской экзегетики. В 1922 году, когда была опубликована его книга *Mose und seine Bedeutung für die israelitische und jüdische Geschichte* (*«Моисей и его значение для истории Израиля и Иудеи»*) он являлся ординарным профессором Ветхого Завета в Берлинском университете. Как и у многих его современников, в его работах прослеживаются определенные идеологические и методологические установки и предпочтения, и для того, чтобы изучать его толкования, важно составить себе об этих последних некоторое представление.

Его идеология – это идеология либерального протестантизма, для которой вершиной библейского откровения является моральная проповедь, суммированная в Десятословии и развитая такими пророками VIII века до н. э., как прото-Исайя, Осия, Амос и Михей. Менее скептичный, чем иные из его современников, Зеллин считал Моисея основателем религии Израиля, автором десяти Заповедей и инициатором моральной проповеди, подхваченной другими пророками. Пророки эти, по мнению Зеллина, не только переняли учение Моисея, но и сохранили в своем предании какие-то воспоминания о его жизни. Вот почему, считает Зеллин, Осия, в местах, о которых речь пойдет дальше, намекает на насильственную смерть Моисея, о которой «исторические» библейские книги умалчивают (во *Второзаконии* 34. 5-6 говорится, правда, о смерти Моисея и его погребении, но уточняется при этом, что местонахождение гробницы его неизвестно, – это несколько таинственное указание и дало начало легенде о вознесении Моисея на небо). Зеллин полагает, что предание о насильственной смерти Моисея было подвергнуто цензуре историками, принадлежавшими к жреческой среде.

Методологическая установка состоит в недоверии к традиционному еврейскому, так называемому *масоретскому* тексту Библии. Предпочтение отдается обычно старейшему из переводов, греческой версии, именуемой *Септуагинтой*, рукописи которой в большинстве своем значительно старше еврейских. Очень часто, не опираясь на какие-либо древние (греческие, сирийские или латинские) версии, в имеющийся еврейский тест вносятся исправления, дающие ему смысл с точки зрения самого исследователя более удовлетворительный. Предполагается, что дошедший до нас текст был во время устной или письменно передачи «испорчен». Экзегетика, понятая таким образом, была при всей своей виртуозности весьма произвольной. Работа Зеллина над пророком Осией дает тому несколько неплохих примеров.

Редактируя первое издание своих комментариев к Осии, вышедшее в 1922 году в серии *Kommentar zum Alten Testament*, Зеллин впервые, по-видимому, обнаружил в тексте пророка места, содержавшие, как ему показалось, намеки на убийство Моисея евреями. Отрывки, приводимые им в обоснование своей гипотезы, мы здесь и рассмотрим. Я кратко скажу, как они понимались до и после Зеллина, а также как и на основании каких аргументов толковал их он сам.

*1) Осия 5.2а.* Полустишие является частью обвинительной речи пророка против священников и «дома Израилева». Оно состоит из трех слов, по смыслу не очень ясных, буквальный перевод которых звучал бы так: «И резня, заблудшие [ее] углубили». Слово, переданное нами как «заблудшие», было, по-видимому, верно понято иудейской традицией, видевшей в них идолопоклонников. Но уже в первой половине девятнадцатого века Ф. В. Умбрайт предложил заменить это слово на топоним «Ситтим», отличающийся от него лишь шипящим начальным согласным и огласовкой первого слога. За этим исправлением последовали другие: заменив в написании первого слова простое *t* на *t* эмфатическое и отделив конечное *h*, чтобы представить его как приналежащий топониму артикль, исследователь получил фразу, которая в качестве обвинения звучала более убедительно: «Они углубили ров Ситтима».

*Ф.* Зеллин принял эту конъектуру с энтузиазмом, поскольку топоним *Ситтим* перекликается с историческим библейским повествованием, играющем в его аргументации в пользу убийства Моисея решающую роль. Это знаменитый отрывок из *Чисел 25*, где рассказывается о поклонении израильтян святилищу Ваал-Фегора во время пребывании их в Ситтиме. Израильтяне были введены в искушение моавитскими женщинами. Господь прогневался на них и наслал на них некое «поражение». Священник по имени Финеес положил этому конец, пронзив израильтянина, которого застал любодействующим с моавитянкой. Немного ниже говорится, что убитого звали Зимри, а моавитянку – Хазва.

Зеллин не предложил бы своего толкования этого места из *Чисел*, если бы его истолкование Осии не навело его на мысль о убийстве Моисея. То, что он говорит об эпизоде в Ситтиме и Ваал-Федоре, свидетельствует о его буйном воображении. Зеллин рисует нам драматическую картину, в которой убитый израильтянин оказывается не кем иным, как самим Моисеем, о котором известно, что у него была жена моавитянка (*Исход* 2.15-22), причем насильственная смерть вождя Израиля имела первоначально значение искупительной жертвы, прекратившей насланное на израильтян бедствие. Впоследствии, по его мнению, священническое предание полностью перекомпоновало этот эпизод к выгоде священства (представленного в нем Финеесом, чья ревность вознаграждается «заветом», данным ему Господом) и исключило из него упоминание о Моисее. Именно он, однако, является, по Зеллину, первоначальным героем этой истории, память о которой осталась в пророческом предании; имя его было впоследствии заменено ничего не говорящим Зимри, а имя его жены Сепфоры – именем Хазва, корень которого означает «обманывать».

*2) Осия* 9.9. Это еще одно пророческое обвинение в адрес «Ефрема». Как и «дом Израилев» в 5.2, имя это указывает на северное царство, отделившееся от Иуды в 922 году и являвшееся для Осии предметом постоянного обличения. В

9.8 речь идет о «пророке», которому Ефрем расставил сети. Зеллин предполагает, что речь идет о Моисее. Полустишие 8b, заканчивающееся словами «он находит противника в доме своего Бога», позволяет Зеллину и здесь разглядеть топоним Ситтим, с которым еврейское слово *противник* (*mastémah*) имеет некоторое сходство. Текст, в его истолковании, звучит так: «В Ситтиме, в доме моего бога». В стихе 9 вновь встречаются выражения, близкие к тем, что мы читали в стихе 5.2, и не менее трудные для понимания, так как буквальный их перевод следующий: «Они углубили, они развратили, как во дни Гивы». Вполне вероятно, что глагол, обычно означающий «углубить», имеет модальное значение и указывает на то, что развращенность, в которой обвиняется здесь «Ефрем», носила характер систематический и постоянный. Упоминание «дней Гивы» относится к памятному злодеянию, совершенному в этом месте согласно *Суд.*19 Зеллин и здесь исправляет текст, чтобы приблизить его к собственной версии 5.2: меняя огласовку глагола «они развратили», он получает существительное «его ров» и переводит так: «...в Ситтиме, в доме своего Бога, они глубоко вырыли его ров».

*3) Осия* 12.14-13.1. Конец главы 12 (стих 14) является единственным у *Осии* местом, где пророк бесспорно имеет в виду Моисея: «Через пророка вывел Яхве Израиля из Египта и через пророка был [Израиль] храним». Уточняя значение местоименных суффиксов, в еврейском часто двусмысленных, следующий стих, 15, можно перефразировать следующим образом: «Ефрем [= Израиль] раздражил [Яхве] сильно, но его кровь [= кровь, пролитая Ефремом] падет на него [Ефрем] и поношение, им содеянное, обратит Господь на него». Израиль обвиняется здесь в кровавых преступлениях, и наказание Господне предсказано ему недвусмысленно. Вся трудность заключается в 13.1, который можно буквально перевести как «когда Ефрем возглашал, [был] трепет; он возвысился в Израиле. Но он сделался виновным по причине Ваала и теперь мертв». Речь идет, по всей видимости, о насмешке над былым величием и последующим упадком коле-

на, которое служит у Осии непосредственным воплощением раскольнического царства, поскольку именно Иеровоам из колена ефремова спровоцировал в 922 году отделение Израиля (в узком смысле, то есть северного царства) от Иудейского царства.

Конъектура Зеллина состоит в замене существительного «трепет» (с согласными *rtt*) на существительное «мой закон» (с согласными *trt*), прочтении глагола *nasâ* «возвыситься» как существительного *naso* («князь»), в придании глаголу «сделаться виновным» значения «искупить», которое он считает возможным, поскольку существительное с тем же корнем означает искупительное жертвоприношение, и, наконец, в перестановке полустишия 12.15b в конец стиха 13.1, что дает в результате: «(12.14) Через пророка [Моисея] Яхве воздвиг Израиля из Египта и через пророка был [Израиль] храним. (12.15a) Но Ефрем раздражил [Яхве] сильно. (13.1) Когда Ефрем возглашал мой закон, он был князем в Израиле. Он [пророк] искупил по причине Ваала [по причине греха идолопоклонства] и теперь мертв. (12.15b) Но его кровь [кровь пророка] падет на него [Ефрем] и поношение, им содеянное, обратит Господь на него». Зеллин находит здесь самое ясное выражение того смысла, который он предполагаемому убийству пророка хотел бы придать: Моисей, по его мнению, был убит соплеменниками в качестве искупительной жертвы за грех всеобщего поклонения Ваал-Фегору. В подтверждение этой странной гипотезы он приводит слова Моисея из *Исх.*32.32, где тот испрашивает у Господа для народа прощение за грех поклонения золотому тельцу, говоря: «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Но нельзя не учитывать и христианские корни идеи Зеллина, видевшего в Моисее прототипа таинственных мистических персонажей пророческой литературы: «служителя Яхве» из *Второ-Исайи* (см. в особенности *Ис.*52.13-53.12) и «пронзенного» из *Захарии* 12.10.

Зеллин отдавал себе отчет в том, насколько хрупкими были высказанные им в 1922 году гипотезы. В 1928 году, в

статье «Осия и мученичество Моисея», опубликованной в *Zeitschrift für die alttestamentische Wissenschaft* (46, S. 261-263), он возвращается к тексту *Ос.*12.14-13.1, и предлагает несколько новых поправок к 13.1а: «Когда Ефрем возглашал мятежное [читая *rbt* вместо *rtt*], он [то есть пророк, то есть Моисей] взял [это] на себя и искупил». Во втором издании своего комментария к *Осии*, вышедшем в 1929 году, Зеллин высказывает к своим догадкам наиболее скептическое отношение. Он по-прежнему полагает, что Осия хранит предание об искупительной смерти Моисея, но ссылается при этом только на 13.1 в интерпретации, предложенной им в 1928 году. Что касается *Осии* 5.2, то он отказывается от исправлений Умбрайта, оспаривает уместность ссылки на Ситтим в связи с событиями вокруг Ваал-Фегора и передает 5.2 как «они глубоко ископали могилу заблуждения». В 9.8-9 он не переправляет больше *mastémah* на «Ситтим» и, переводя по-прежнему 9.9а как «они (глубоко) ископали его ров», не настаивает больше на том, что пророк, упомянутый в притяжательном падеже, является Моисеем. По его мнению, речь идет о персонификации пророческой функции как Зеллин ее себе представляет: пророк – это носитель слова Божьего, обреченный на мученичество.

Как отметил К. Будде в 1932 году («Goethe zu Mose's Tod», *Zeitschrift für die alttestamentische Wissenschaft*, 50, S. 300-303), мысль о насильственной смерти Моисея за полтора века до Зеллина высказывал Гёте: в одной из своих *Noten und Abhandlungen zu besseren Verständnis des west-östlichen Diwans* (издательство Hempel IV, S. 320 sq.) он выдвигает предположение, что Иисус и Халев убили вождя Израиля, не решавшегося перейти Иордан и вступить на обетованную землю, и взяли власть в свои руки. Гипотеза эта проще зеллиновой, но не менее произвольна – лаконичное сообщение *Второзакония* 34.5-6 о неизвестности места погребения Моисея будит, конечно, воображение, но правдоподобных предположений о смерти Моисея на нем выстроить не удается. Не исключено, что идеей о насильственной смерти Моисея Фрейд обязан воспоминанию о раннем чтении Гёте, а к Зеллину он обратился позднее, чтобы дать этой мысли более научное обоснование.

## Примечание редактора

Господин Како любезно согласился по моей просьбе отредактировать в 1990 г. свое выступление на семинаре 1970 г.

Я выражаю благодарность д-ру Патрику Валасу, предоставившему в мое распоряжение запись беседы на ступенях Пантеона; он также провел работу по сличению стенограммы всего семинара в целом с магнитофонными записями.

В чтении корректуры принимали участие г-жа Жюдит Миллер, г-жа Эвелин Казаде-Хавас из издательства Сёй и г-жа Доминик Хехтер. Я приношу им свою благодарность за участие в выпуске Семинара.

Я сохранил ошибочное цитирование Лаканом заглавия книги Бальзака *Изнанка современной истории.*

*Жак-Алэн Миллер*

*Примечание переводчика* (к стр. 113):

* «...наших семейных, фамиль-ных (famil-iales) традициях – пишите это последнее слово так, как писал я его в прошлом году, *femme-il-iales*»: Ср. Семинар XVI *От Другого к другому,* с. 293 франц. изд.: «Если для перверсивного субъекта необходимо, чтобы существовала женщина не кастрированная, или, точнее, если он ее таковой делает, превращая ее в *оммельку* [homme-elle, бабец], то на горизонте поля невроза не вырисовывается ли *фамиль* [femme-il, мужчинка] – нечто такое, в чем есть, конечно, что-то от *il*, *он*, но чье Я становится ядром, центром семейной, *фамильной*, драмы?»

# СОДЕРЖАНИЕ

## ИЗНАНКА СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ



## ПРИЛОЖЕНИЯ

**Jacques Lacan**
LE SEMINAIRE

**Жак Лакан**
СЕМИНАРЫ

КНИГА 1: *Работы Фрейда по технике психоанализа*
>>>>>>Les écrits techniques de Freud
КНИГА 2: *"Я" в теории Фрейда и в технике психоанализа*
>>>>>>Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse
LIVRE III: Les psychoses
LIVRE IV: La relation d'objet
КНИГА 5: *Образования бессознательного*
>>>>>>Les formations de l'inconscient
LIVRE VI: Le désir et son interprétation
КНИГА 7: *Этика психоанализа*
>>>>>>L'Éthique de la psychanalyse
LIVRE VIII: Le transfert
LIVRE IX: L'identification
LIVRE X: L'angoisse
КНИГА 11: *Четыре основные понятия психоанализа*
>>>>>>Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse
LIVRE XII: Problème cruciaux pour la psychanalyse
LIVRE XIII: L'objet de la psychanalyse
LIVRE XIV: La logique du fantasme
LIVRE XV: L'acte psychanalytique
LIVRE XVI: D'un Autre a l'autre
КНИГА 17: *Изнанка психоанализа*
>>>>> L'envers de la psychanalyse
LIVRE XVIII: D'un discours qui ne serait pas du semblant
LIVRE XIX: ... ou pire
LIVRE XX: Encore
LIVRE XXI: Les non-dupes errent
LIVRE XXII: R.S.I.
LIVRE XXIII: Le sinthome
LIVRE XXIV: L'insu que sait de l'une-bévue s'aile a mourre
LIVRE XXV: Le moment de conclure
LIVRE XXVI: La topologie et le temps psychanalyse

Жак Лакан

# Изнанка психоанализа

Семинары: Книга 17 (1969-70)

Перевод с французского – А. Черноглазов
Редактура – М. Титовой (глл. 1-5),
О. Никифорова (глл. 6-9), М. Страхова (глл. 10-13)
Корректура – Н. Гомоюнова; Верстка – Издательство "Логос"

Издательство "Гнозис", Издательство "Логос"
119847 Москва, Зубовский б-р, 17-50
e-mail: letterra@gmail.com; logospublishers@gmail.com
Справки и оптовые закупки по адресу:
Книжный магазин "Гнозис", тел. (499)2557757.

Подписано в печать 04.08.2008. Формат 60x90/16.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз.

Заказ N 1316.
Отпечатано в ППП "Типография "Наука"
121099 Москва, Шубинский пер., 6

ЛОГОС ГНОЗИС

| | |
|---|---|
| **КНИГА 1** | **Работы Фрейда по технике психоанализа** |
| **КНИГА 2** | **"Я" в теории Фрейда и в технике психоанализа** |
| LIVRE III | Les psychoses |
| LIVRE IV | La relation d'objet |
| **КНИГА 5** | **Образования бессознательного** |
| LIVRE VI | Le désir et son interprétation |
| **КНИГА 7** | **Этика психоанализа** |
| LIVRE VIII | Le transfert |
| LIVRE IX | L'identification |
| LIVRE X | L'angoisse |
| **КНИГА 11** | **Четыре основные понятия психоанализа** |
| LIVRE XII | Problème cruciaux pour la psychanalyse |
| LIVRE XIII | L'objet de la psychanalyse |
| LIVRE XIV | La logique du fantasme |
| LIVRE XV | L'acte psychanalytique |
| LIVRE XVI | D'un Autre à l'autre |
| **КНИГА 17** | **Изнанка психоанализа** |
| LIVRE XVIII | D'un discours qui ne serait pas du semblant |
| LIVRE XIX | ... ou pire |
| LIVRE XX | Encore |
| LIVRE XXI | Les non-dupes errent |
| LIVRE XXII | R.S.I. |
| LIVRE XXIII | Le sinthome |
| LIVRE XXIV | L'insu que sait de l'une-bévue s'aile à mourre |
| LIVRE XXV | Le moment de conclure |
| LIVRE XXVI | La topologie et le temps |